

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

АПРЕЛЬ

№ 4



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1932 ЛЕНИНГРАД

Дюшамбе

Н. Юргин

I

Бухара тысяча девятьсот двадцать первого года уже сбросила с плеч эмира (он ушел в Афганистан с длинным караваном добра из своих дворцов). Бухара даже кое-как замирила басмачество и, казалось, начала трудовую жизнь. Это была Бухарская народная советская республика, в сокращении — БНСР, в просторечии — Бухреспублика, которую иногда называли: «Трах-республика» и «Бух-трах-республика». Мне это прозвание совсем не нравилось — я любил Бухару еще с Владикавказа, когда на совещании ЮЖа было решено ехать в Бухару.

ЮЖ — это я и Жерлин.

Мы жили в Старой Бухаре, в бывшем медресе, названия которого я не помню. Мы остановились здесь по дороге в Индию (таков был возраст). Мы готовились принять мусульманскую веру, чтобы сподручнее было делать революцию на Востоке, и усердно изучали узбекский язык. Смачивая из кумгана свои волосы и плечи от жары, мы зубрили узбекские слова, соревнуясь в количестве вызубренных. Затем поодиночке шли на базар поверять знания на практике. Возвращались мы в большой досаде.

— Ты ему по-узбекски, а он тебе по-самарски, — говорил один (в то время очень много было в Бухаре мешечников из Самары).

— Мне тоже, — говорил другой. — И по-самарски-то он знает не больше, чем ты по-бухарски.

Мы жили в медресе неторопливой жизнью — в старинном медресе, его

древность нам импонировала. Оно было двухэтажным. Понизу и поверху шли квадратом полутемные комнатухи, в коврах, с нишами. Дверца в комнату открывалась с узкого, как коридор, но светлого балкона, так же по квадрату огибавшего внутренний двор. Посредине двора, вымощенного камнем, было квадратное углубление. Может быть, здесь полагалось быть фонтану. Конечно, медресе было древним и в каждом камне своем хранило следы столетий. Сейчас оно было заселено советскими служащими, большей частью, бухарцами или казанскими татарами. Из русских жили, должно быть, только мы двое.

Вечера в медресе мне запомнились. Бухарцы начинали петь. Они пели не хором, а поодиночке — то один, то другой. Русские песни кажутся чрезмерно грустными в Европе. Нам бухарские казались совершенно тоскливыми, рыдающими. Было трудно сначала считать это песней. Но мы верь все, данное нам в Бухаре, принимали прежде всего как характерное. Мы искали характерного. Мы полюбили рыдающие бухарские песни, пусть иногда дразнили певцов.

Но мы откидывались на спину и лежали недвижно, когда вечером начинали кричать муэдзины...

Бухара — огромный город, как Москва. В нем сорок сороков мечетей. Крик муэдзина в одиночку очень резок, гнусав, он тиранит уши, к нему нельзя привыкнуть. Но общий крик всех бухарских минаретов несравненно приятней даже московского колокольного звона.

Еще полюбили мы крик ишака. К нему ведь тоже нельзя привыкнуть. И каждый раз он неожидан. Но нельзя от него оторваться, как от раны, с которой начинаешь сдирать коросту. Когда закричит ишак, ему тотчас же отвечает другой, потом — третий и следующие. И вот ты отдираешь свои коросты одну за другой и не перестаешь до тех пор, пока не отдерешь всех до последнего ишака.

Мы жили в Старой Бухаре все лето. Мы служили в назирате просвещения («Маариф-назират» — так это звучит). Но мы стремились в глубь страны, мы хотели в Восточную Бухару, в Горную Бухару. Мы добивались в назирате командировки по организации культурной работы на местах. Жерлину удалось это. Я представил назирату план организации по Бухреспублике мусульманских библиотек. Республика обладала огромным запасом очень ценных для любителя старинных книг на всех языках мусульманского Востока. Но не было смысла распространять в массах эту средневековую мусульманскую теологию, астрономию и алхимию и феодальную беллетристику. Нужна была новая литература, — новой еще не было. Советская узбекская литература едва нарождалась. Она могла похвастать только одним-двумя десятками переведенных с русского политических брошюр и еще небольшим количеством оригинальных да листовками и плакатами. Это было все, что можно было дать массам. Впрочем, новая литература росла. Впрочем, уже и сейчас она могла принести огромную пользу, если ее распространять, а не замораживать на складах. Я предложил организовать по республике сеть читален по образцу русских избчитален. Я сам собирался сделать это в командировке по вилайетам республики.

План был принят, но командировка была в последний момент отменена. Статья с изложением плана, напечатанная мною в новобухарской газете, была принята назиратом как оскорбление. Я поссорился с назиратом.

В сумерках в одной из комнат полномочного представительства РСФСР в

Бухреспублике я разговаривал с одним из ответственных работников полпредства. Я рассказал ему историю своих ссор с назиратом и в очень приближенных выражениях объяснил, чем влечет меня Бухара.

— Значит, вы хотите быть ориенталистом?

Меня уже начинала трепать лихорадка. К вечеру приступ нарастал. Голос человека, сидевшего напротив, долетал как бы издали. Слово «ориенталист» зарябило в воздухе, как причудливый восточный орнамент, как путаница горных хребтов и ущелий Восточной Бухары, в которых я хотел ориентироваться.

— Да!.. Совершенно верно! — ответил я. — Да, ориенталистом! Извините, меня лихорадит что-то.

— Мы командидуем вас в консульство, в Термез или Дюшамбе, на должность информатора. Завтра придите получить документы. Хина есть в нашей аптеке.

— Очень хорошо. Завтра и решим — в Термез или Дюшамбе.

Я ушел в свое медресе отлеживаться от лихорадки. Малярия приятна в начале приступа. Человек еще ходит по делам, по улицам и даже еще гуляет. Его уже начинает обволакивать изнутри жар, но он идет по солнечной стороне, жар приятен, он экзотичен. Походка медлительна, мир приветлив. Но человек слабеет, он вынужден лечь. Малярия треплет его, треплет. Его знобит, но и озноб еще хорош до самого конца. Хочется сжаться в комок и ткнувшись под чье-то покровительство. И только тогда, когда приступ прошел, становится человеку скверно. Ему бы уже встать и приняться за дела, но головная боль тяжела, она тянет его книзу, тошнота и муть отравляют все внутри, мир досаден. Это, брр, неприятно!

Утром я получил назначение в Термез условно: если там свободна в консульстве должность информатора — я остаюсь, если нет — еду в Дюшамбе.

Я очень быстро снялся из Бухары; ведь Жерлин был всего неделю-две, как уехал, я должен был его нагонять, я рассчитывал нагнать его в Керках. У

меня было много денег (я получил гоно-рар за инструкцию, оставленную для на-зирата), я мог обидаться фруктами, я швырялся деньгами в Бухаре в послед-ный день. На станции Эмирабад под Новой Бухарой я сел в поезд до Кар-шей, до города Карши. Дорогу эту пропу-щу: тоскливо, раздражающе мед-ленно, пустынно и иссушающе жарко.

В Каршах была пересадка, я ночевал в каршинском консульстве. Город Кар-ши был тогда полумертвым городом. Этот огромный по площади город был покинут населением и иссыхал в пыли. Я брел со станции сквозь эту человече-скую пустыню, заглядывая во внутрен-ние дворы и старался восстановить его воображением в жилом виде. Турке-станское жилье очень привлекательно и внутренней солнечной своей площад-кой-двориком, мягкостью своей, и бес-шумностью — коврами, кошками цынов-ками и занавесками. Глиняные стены гладко зализаны и чисто выметены, так что кажется, — глина не замарают пла-тья, если к стене и прислониться. Но в Каршах жилища пустовали и готови-лись к осыпанию. Опустевшее жилье сразу принимает тысячелетний облик и кажется уже не человеческим, а каким-то скотским загоном или птичником, крылатые жильцы которого, одичав, улетели. Запах трупного иссыхания но-сился над Каршами.

Только по главной дороге от станции, по главной улице, еще дребезжал то-щий базарчик. На окраине, куда я при-шел, оживление делали красноармейские части: скакали верховые, бродили куч-ками красноармейцы, торговал солдат-ский ларек. В переулке, в одном из ту-земных домов я нашел консульство. Здесь опять глиняное туземное жилье стало привлекательным, и даже канце-лярские столы, утвердившиеся на вну-тренней терраске, показались уместными, обрadowали.

Утром я сел в поезд, идущий на Кер-ки. Это был «максим», самый флегматич-ный из всех «максимов». Он шел враз-валку, как ленивый денщик, и глаза по сторонам, хотя не на что было глазеть. Кругом были пески с очень редкими су-хими кустиками. Иногда между кустами

мелькал какой-нибудь зверек. Тогда ма-шинист тормозил, и поезд останавливал-ся. Кондукторская бригада высовывалась из всех вагонов с берданками и обре-зами, и начиналась охота на лису, на зайца. Лисы всегда ускользали, зай-ца одного убили.

Железнодорожный путь тогда не до-ходил до Керков. Где-то возле разру-шенной станции он терялся в песках, как теряются в песках здешние реки, не успевая добежать до моря от сухости. Люди повылезли из вагонов, и должны были отправляться в Керки, верст за два-дцать, своими средствами. Большинство шло пешком. Я примазался к попутной красноармейской телеге.

Керки стоят на Аму-Дарье — на том берегу, на левом. Это захолустный го-родошкo. Здесь я разыскал Жерлина и нашел его в местном ОНО, который по-мещался в огромном муниципализиро-ванном караван-сараяе. Жерлин стоял на верхней террасе этого здания и разго-варивал с двумя узбеками. Я спросил у него, где мне найти инструктора Жер-лина.

Этот человек нагло расхохотался пря-мо мне в лицо. Я не узнал его. Он был в узбекском халате и тюбетейке и оброс бородой. Я принял его за узбека. Я широко раскрыл глаза, когда узнал в узбеке приятеля, и тоже захохотал. Его звали уже здесь не Жерлин, а Ис-кандиров, — по отчеству (Александров-ич).

Прежде всего Жерлин повел меня по-казывать своего здешнего начальника. Это был узбек, по имени Бури. Он был очень высок ростом, тонок и бел влаж-ной, рыхлой белизной. Жерлин расхва-ливал мне его на все лады. Он преду-предил меня о его руках. Руки были всего белее и с очень длинными паль-цами. Руки были и мительны. Разгова-ривая с посетителями, Бури жестикули-ровал кистью и пальцами. Он изламывал их, пальцы изгибались и летали как гимнасты, они гипнотизировали, и, на-верно, Бури знал это.

Потом мы отправились на улицу, где торгуют, в чайхану. Пить зеленый чай, разлегшись на ковре, и есть сладкую чарджуйскую дыню было нашим пре-

краснейшим удовольствием еще с Бухары. Уездный базар к вечеру пошумливал без торопливости. Из-за угла выехал всадник с плакатом и в ярко-красном халате. Он медленно въезжал в толпу и выкрикивал какие-то призывы.

— Это моя работа! — сказал Жерлин. — Это глашатай, который сзывает людей на спектакль, организованный мною. Я организовал здесь узбекский драмкружок. Хотите, пойдем посмотреть попозднее?

Когда стемнело, мы пошли смотреть спектакль. Он был устроен в саду. Была настоящая сцена, только маленькая. Разыгрывалась персидская революционная пьеса. Довольно убогий был спектакль, но, может быть, первый туземный советский спектакль в Керках.

Мы решили оба ехать в Термез. Мы наняли каюк и отчалили от Керков вверх по Аму-Дарье. Несколько дней мы плыли широкими водными пространствами этой реки, пробирались сквозь камыши, путались в островах. Здесь впервые мы по-настоящему узнали природную белесоватость туркестанского ландшафта. Ярких и сочных красок в этой природе, в сущности, нет (за исключением некоторых закатов, о которых нужно говорить отдельно). Но это постигается не сразу, победа над традиционным представлением о яркости красок Востока дается не сразу. И, даже воспринявши, наконец, эту неяркость, не сразу веришь ей и потом снова открываешь ее как бы впервые. Туркестанский ландшафт белесоват, запылен белой пылью, отуманен сухим туманом, даже по утрам, даже весной и осенью, а над водой — особенно.

Справа от нас был афганский берег, совершенно безлюдный, откуда по вечерам из камышей доносились к нам плач шакалов, как детский плач. Каюк — это большая лодка. Когда был попутный ветер, ставили парус, и лодка шла довольно быстро, то припадая, то привставая в легких волнах. Когда ветра не было, каюкчи снимали штаны, вылезали в воду и тащили лодку по мелководью бечевой, без песен. В лодке был устроен шалаш — на ночь от комаров

и от солнца днем. Каюкчи кормили нас своей шурпой. Это было невкусное и нечистоплотное поданное блюдо, но это было туземное блюдо, и мы ели его удовлетворенно, вылавливали руками из супа куски лепешек, — мы к нему привыкли быстро. На ночь останавливались и спали в каюке. Иногда останавливались и днем где-нибудь у твердого берега. Мы босиком выпрыгивали на берег и, ошпарив ступни от горячий песок, снова залезали в лодку.

Термез по преимуществу русский город, и притом — новый, и не совсем маленький, и очень просторный, и довольно благоустроенный. Через Термез идет торговля с Афганистаном (дорога на Мазар-и-Шериф). В консульстве скоро выяснилось, что место информатора занято, и я еду в Дюшамбе. Но дня три еще прошло в Термезе. Здесь мы с Жерлиным пили однажды вино. Пить вино это вовсе не пустяк в жизни, особенно если в первый раз. До поздней ночи мы гуляли, шатались и остроумничая, по зеленым улицам Термеза, приятно вваливались в арыки и, кажется, даже пели песни во всю силу легких.

Нужно было бы и Жерлину ехать со мной в Дюшамбе. Но в ревкоме ему пригрозили арестом за самовольный приезд сюда, и он должен был возвращаться в Бухару за новой командировкой. Мы расстались без слез, уверенные, что скоро снова встретимся в Дюшамбе. Однако это не вышло, и мы встретились только через год... в Москве.

От Термеза до Дюшамбе — верст двести с неопределенным гаком, и это нужно было покрыть верхом. Мне дали бухарского милиционера, имени его не помню, назову Махмут. Он должен был служить мне и проводником и охраной. Махмут был милиционер большого роста с маленькой головой и лицом в мелких большей частью горизонтальных складках и морщинах. Когда прикомандировывали его ко мне, вероятно думали, что путь не безопасен, как и сейчас думают, что не безопасен путь по пустым местам Кавказа. Я к оружию относился беспечно, потому что даже и в детских мечтах я не представлял себя никогда никаким ни завоевателем, ни

отважным героем. В тот же год физическую силу и доблесть я прямо презирал — из оппозиции всем прошлым путешествиям и героизмам, — считая ее грубой материей, не способной оказать честь человеку. Винтовку я не взял, чтобы не болтался лишний груз на спине и не отбивал плеч, — более легкого оружия не было. Если бы было, я взял бы наверное, потому что всегда брал с собой легкие вещи, которые считаются не лишними и не слишком надоедают в пути. Махмут же был вооружен с головы до ног — и шашкой, и винтовкой, и наганом, потому что он любил оружие. Он был в синей униформе, так и запомнился он — большой и синий. Я напрасно пугаю читателей разговором об оружии: ничего опасного дорогой все равно не случилось. Случалось позже.

Махмут любил также коней. Поэтому он приехал за мной в консульство на огромном и красивом жеребце. Мне же привел какую-то низкорослую клячу под камышовым седлом. Мне было все равно на чем ехать. Но сотрудники консульства слишком уж язвительно раскритиковали моего коня, и я должен был заставить себя возмутиться. Я отпратил в исполком и потребовал себе другую лошадь. Я страшно раскричался там, — вероятно я в первый раз в жизни так раскричался. Как известно, в те годы все доставалось бранью и криком, это я уже понял и решил применить этот прием на деле, насилуя себя, — но все равно мне лучшего коня не дали.

Ехали мы до Дюшамбе четыре дня. За это время я научился ценить и лошадей и седла и еще один раз раскричался. Лошадей мне на этапах давали все лучше и лучше. Очень нравилось скакать сломя голову без дороги, не обращая внимания на крики Махмута, который плохо знал по-русски и потому казался не убедительным. О седлах же я теперь способен говорить по крайней мере четверть часа без передышки. Камышовых седел из стремян мне больше не давали. Без сомнения, это наименее удобный вид седел. Но мне положительно понравились местные бухарские седла. Они деревянные и сде-

ланы как стул или, приблизительно, как сиденье у трактора. Они всегда ярко раскрашены — с удовольствием я написал бы исследование об орнаменте бухарских седел. Стремена подтягиваются высоко, так что ноги в коленях согнуты под прямым углом. Должно быть, эти седла — верблюжьего происхождения. Для дальней и тихой дороги они очень удобны. Больше всего, однако, я любил казачьи седла с подушкой. Очень уж мягки они и покойны. А при скачке в них подпрыгиваешь как на рессорах. Кавалерийских и английских не люблю до сих пор. Должно быть, потому, что до сих пор не приучился к настоящей кавалерийской езде. Настоящая кавалерийская посадка и ход кажутся мне как раз наиболее утомительными и тряски. Сидеть вразвалку всегда приятней, даже в седле. Кроме того, кавалерийская езда ведь тоже не относится к числу достоинств человеческих, это скорей дикарское достоинство, как и палба из ружья. Так я думал тогда или думаю.

Раскричаться же в эту дорогу мне довелось так. Где-то, не доезжая Денану, к нам присоединились трое красноармейцев, ехавшие из Байсуна в Дюшамбе. Кажется, они ехали вовсе без седел. Они жаловались на пренебрежительное отношение к ним властей на этапах, они возбуждали сочувствие. Мы вместе вехали в Каратаг. Здесь аксакал дал мне прекрасного коня и Махмуту дал прекрасного коня. А красноармейцам предложил ишаков. Езда на ишаках свежее человеку непереносима: это сплошной мелкий горошек, который вытрясывает у человека душу на первой же версте. Лучше идти пешком — но и пешком по туркестанской жаре, по голому краю идти немисливо. И вот я накричал на аксакала. Кони появились мгновенно.

Дорога шла по правому берегу Сурхан-Дарьи, вверх, к северу, к снегам Гисарского хребта. Вправе за Сурханом долго тянулся невысокий хребет Баба-таг; голый желто-серый песчано-глиняный, он по форме напоминал укравшегося с головой серым одеялом лихорадленного больного на койке из камышей. Долина Сурхана населена. Зелененькие

оазисы-кишлачки продолговатыми клумбами сидели повсюду на отлогих склонах Байсунских гор. Много кишлачков и городков мы проезжали и внизу. Подойдя вплотную к Гисарскому хребту, мы спустились в одно из его ущелий, в город Каратаг. Этот спуск был крут, он был красив. Мы как бы сходили по ступенькам и с каждой ступенькой, с каждым поворотом открывали новый участок этого цветущего города, способного очаровать человека долиной жизни, пустынных тропок. Потоки, бурные и мутные и криво текущие, искривляли лицо города в беспокойную гримасу. В городе был очень шумный, крикливый, многолюдный базар. Коням трудно было пробираться сквозь базар. Нам уже не раз попадались базары в попутных кишлаках, и все они были очень беспокойны, нервные, как бы в ожидании каких-то крупных событий — тех событий, которые разразились через неделю, того всеобщего восстания, которое охватило кишлаки через неделю. Но попадались и тихие кишлаки, большие тихие кишлаки, особенно когда мы выехали на Байсунскую дорогу, от которой как раз можно было ждать оживления. Это — Денау, Юрчи, Сары-Осия, Регар. Они оживлялись только по окрестностям, возле караван-сарая. Их население или уже покинуло их и ушло в горы, или притихло в наглухо закупоренных своих жилищах. Напряженность, затаенное дыхание или истерические выкрики и захлебывающиеся разговоры правили долиной Сурхана. Может быть, мне это только сейчас так кажется, может быть, еще не казалось так, когда ехал. Но если и не казалось тогда, то очевидно, тем не менее, было нечто похожее на это, только стало известно позднее. Кишлаками правили советские республиканские аксакалы, но большею частью они были из старых эмирских аксакалов, для виду покорившихся советской власти. Были и председатели волостных ревкомов из прежних беков и баев. Базары волновались слухами о готовящемся восстании. Басмаческие вожды рассылали по базарам своих людей, подготовлявших народ к восстанию. Муллы и ишаны шопотком уже

подзуживали народ к священной войне. Аксакалы в любой момент готовы были посрывать красные флажки со своих аксакальств. Все это уже наверное было, потому что время близилось. Красных войск оставалось мало, время близилось.

После Каратага Махмут, обидевшийся за аксакала, усакал вперед. Я ехал не спеша вместе с красноармейцами. Перед Дюшамбе мы остановились. Мне сейчас хочется остановиться и постоять перед Дюшамбе. Мы стоим перед спуском в долину реки Дюшамбинки. Между многими ее рукавами плоские островки из мелких камней. Речка пошумливает. На том берегу круто поднимается отвес, который в двух-трех местах несколько скошен, и тут вверх идут дороги. Над обрывом стоит Дюшамбе. Над самым крутым местом, посредине города — что-то вроде туземного укрепления на тонких подпорках, как на пальцах, вцепившихся в осыпающийся обрыв. Это и есть Дюшамбинская крепость — кремль не кремль и не городище, а просто возвышенная площадка, защищенная глухой глиняной стеной. Город сплошь глиняный, в небогатой зелени, типично бухарский. Но к югу над правой окраиной его плавают почти плоские железные крыши, серовато-зеленые, цветущие, и настоящие русские трубы. Там и должно быть консульство. Но мы заезжаем слева, с севера, со стороны Гисарского хребта. Здесь мы переезжаем Дюшамбинку по мосту. Мы поднимаемся в город и едем через весь город. Опять базар! Такой же шумный, обильный фруктами, беспокойный, непонятный, как все непонятно в новом городе, который предстоит тебе обживать. Должно быть, мы вехали в Дюшамбе в понедельник, потому что Дюшамбе в переводе и значит понедельник, здесь по понедельникам бывает базар. Из-за базара город *кажется* очень населенным, улицы запружены народом. Мы пробираться узкими улицами. Я и Махмут — мы везаем в расположение русских домов на южной окраине Дюшамбе.

II

С этой главы начинается рассказ о событиях, имеющих не одно только

личное значение, — о басмаческом восстании в Восточной Бухаре. Тема очень трудна. Незнание местного языка вредит человеку в чужой стране. Оно заставляет его действовать, глядя на примеры других, и понимать окружающее так, как понимали его предшественники, его соотечественники, прибывшие в страну, может быть, всего на один только заход и восход солнца раньше его. Мотивация действий местных людей недоступна ему. В глазах пестрит, уши наполнены звоном, невинная болтовня на чужом языке в твоём присутствии оскорбляет, как «секреты в обществе», которых как известно, не полагается. Человек ступает нетвердо, он недоверчиво встречает самые правдоподобные известия о действиях населения: то они кажутся ему слишком похожими на действия людей его страны, то — слишком экстравагантными и экзотичными.

Но потом скоро начинается и обратное. Человек обживает какой-то угол в чужом мире, и чужой мир скоро становится обыденным. Описать его так же трудно, как комнату на родине, в которой живешь много лет. Эти два противоположных ощущения долгое время соседят, одно мешает другому. Со времени «Дюшамбинских событий» прошло девять лет с лишним, документов у меня под рукой почти нет, записок не велось, сохранились только кое-какие черновики. Большинство мемуаристов слишком самоуверенны. Я попробую не следовать их примеру. Ни об одном эпизоде я не могу сказать, что он «стоит перед глазами так ясно, как будто это было только вот сейчас», несмотря на то, что редкостных происшествий было достаточно. Первое, что я вижу, оглядываясь назад, — это «туман забвения». Я вынужден разгребать его руками, дуть на него, отгеснять его, отвоеывая в пользу ясности тот или иной участок памяти. И я не уверен в совершенном успехе.

Поэтому в своем рассказе я дам не описание событий, а описание своей памяти о событиях, сохраняя нетронутыми все пятна времени, все следы обвалившейся огрунтовки на этих табличках своей памяти.

Я не успел еще обжить своего угла в Дюшамбе, как началось восстание — через неделю после моего приезда, в сентябре. Быт еще не успел сложиться. Консульство занимало один из маленьких флигелей, две комнаты с кухней. Другой маленький был занят штабом полка, третий маленький и два больших — военным госпиталем. Консулом был Белицкий. Еще был комендант-завхоз Швеиц, и еще трое красноармейцев охраны: Лайко (или Лайков), Ожередов (или Ожередов) и Зюзик. Я стал информатором, получил длинный мандат и ждал распоряжений — что делать. В консульстве еще не было канцелярии, в нем еще не было мебели, кроме одного стола, двух табуретов: в задней комнате на полу у стены был постлан большой ковер — тут мы спали трое. Красноармейцы спали как-то иначе.

В Бухарской крепости, над Дюшамбинкой жил со своей канцелярией вахиль-мухтар, чрезвычайный уполномоченный правительства БНСР в Восточной Бухаре. Он был турок, его звали Сурия-бек Шейх-зада, а в прямом обращении — Сурия-эфенди. Назиры его (по Восточной Бухаре) размещались, кажется, в городе. Крепость делилась на две части по два двора. Во втором был штаб бухарского гарнизона милиции, пулеметная команда и кое-кто из русских на бухарской службе. Военный назир, живший тоже тут, был также русским. Его фамилия была Морозов.

Жило ли в городе частное бухарское население — не помню, но еврейский квартал оставался заселен полностью. Впечатление пустынности города в будние (не базарные) дни у меня осталось. Чаще всего мелькали защитные гимнастерки русских красноармейцев, рассеянных по всему городу.

Момент начала восстания ускользает из моей памяти. Басмачи обложили город, напали на город, и город стал обороняться, но как это произошло? Возле русских домов из трехдюймовой пушки делают пристрелку по ближайшим горам. Близорукость мешает мне рассмотреть, в кого палят. Это похоже на учебную стрельбу. Но оказывается, это всерьез. Где-то на другом конце города

ружейная пальба. Пальба бывала и раньше случайная. Но тут не случайная, она растет, трещит пулемет. Консул, должно быть, в крепости, я не помню его рассказывающим о ночном или дневном нападении на город. Я узнаю об этом, должно быть, от штабных. Сам я в крепость еще не вхожу. Пробею сейчас припомнить, какие я писал донесения полпредству в первые дни под диктовку консула (я должен был записывать со слов консула, сам стилистически обрабатывая текст донесения). Не сообщалось ли о каких-нибудь наблюдениях за поведением басмаческих главарей, о перегруппировках басмаческих сил в горах уже тогда, еще до начала восстания? Это возможно. Вот передо мной клочок бумаги с того времени. В нем говорится о переговорах с басмаческими главарями еще в начале августа, о неудавшихся переговорах. Вероятно, отношения сторон были очень натянутыми, и я, должно быть, знал об этом и мог ожидать войны,—и не удивился нападению, а потому забыл об обстоятельствах, в которых оно открылось.

Словом, как бы то ни было, началась осада города, длившаяся несколько месяцев. Цепи красноармейцев залегли вокруг города, были вырыты окопы. Пулеметный огонь сдерживал натиск басмачей. Басмачи толпой кидались в наступление, с криком «Бисмилла». Они были плохо вооружены, это были дехкане, спровоцированные на войну слугами эмира, искателями власти и дани. Палки с железными наконечниками — вот их оружие против пулемета. Только их начальники постреливали с гор из английских винтовок и охотничьих берданок. Пулемет косил их как траву. Они быстро отступали, никогда не оставляя однако раненых или убитых. Они скачивались в атаку с гор и никогда не наступали ночью, всегда днем, или утром или вечером,—они боялись темноты, они боялись русских, они боялись ружей, они боялись смерти, их гнали под гипнозом фанатичных религиозных призывов, они и без того метались в темноте.

Наши части сами не воевали, только оборонялись. Но и басмачи наступали не каждый день. Иной раз несколько дней длится затишье без официального перемирия, с частной перестрелкой, а то даже и совсем тихо. С первых же дней начались переговоры — обмен письмами. Переписку начали басмачи, им нравился обмен любезностями на расстоянии, казалось,—они увлекаются ею. Переписка была выгодна и нам: все-таки затишье на некоторое время военные действия. Неизменный мотив басмаческих писем — требование увести войска. Кроме того угрозы, хвастовство, призывы к благоразумию — это с обеих сторон. Стил был возвышенный. Все, что говорилось и требовалось, — все делалось во имя бога. И это с обеих сторон. Советское бухарское командование и даже консул не пренебрегали божьим именем ради мира, чтобы не дразнить фанатиков. Упоминание этого имени было как бы проявление дипломатической вежливости. Ряд длинных и звучных интернационально-мусульманских имен (узбекских, таджикских) скрепляли басмаческие письма. Ряд пестрых русских, узбекских и таджикских имен скрепляли наши письма.

Вот образец басмаческого письма в буквальном, а потому и неуклюжем переводе с персидского (этот язык, как известно, является языком интеллигенции и международным по всему мусульманскому Востоку, его роль близка к бывалой роли французского языка в Европе):

«Объявление

Начальнику гарнизона и коменданту города.

Объявляем, что все владения Каратегины, Куляба, Балджуана, Кургантепе, Кабаднана, Паттагисара подчинены нам. Остальные же владения, как Байсун, Шахризис, Карши, Керки, Яккабаг и Чиракчи также теперь находятся под властью людей ислама. Вам, конечно, известно самим, что все это сделано при помощи английского правительства. Все сказанное здесь, конечно, известно и вам. И вы никаким образом не сумеете спастись от нас. Будьте благонадежны.

ны, помощи вам ждать ниоткуда не приходится. Но вы не беспокойтесь, если вы пожелаете уехать отсюда куда-нибудь, то вам следует только передать нам имущество и снаряжение. И нам никакого дела нет до вас. Наша цель, чтобы вы покинули наши владения, оставив лишь нам свое имущество (вооружение). Не думайте, что мы обманываем вас. Вам не будет никакого вреда. Это мы в первый раз предупреждаем вас, чтобы вы задумались над своим положением. Если вы исполните то, что мы предлагаем вам, и пожелаете отсюда отправиться, мы вам дадим проводников. Если же вы не исполните то, что мы предлагаем вам, то с помощью божьей мы не дадим вам уйти из наших рук. Не думайте также, что это пишем мы из страха перед вами. Пусть вам хорошо будет известно, что мы — мусульмане и у нас слово не расходится с делом. Отвечайте на наше письмо скорее, и мы будем действовать согласно вашему ответу. Выйдите и посмотрите на нас в свои бинокли. Если мы пожелаем, то с помощью божьей сумеем в час раздавить вас. Ваших пушек и пулеметов мы не боимся. С помощью божьей среди нас имеется только одних матчинцев до 1000 человек воюющих.

Начальник войск Ибрагим-бек,
караул-биги.

Начальник матчинцев Саид
Аскар-хан.

Мулла Ахунд.

Курбан Нурмухамед-углы Курбашм

Мулла Шаши-Мардон Токсаби.

Мулла Могоммед Юсуф,
Ишан-башин.

Мулла Мохаммед Амин Аялам.

Саид Ахмед-углы.

(подпись по-русски неразборчиво)

Калид-бек, мирахур.

2 октября 1921 г. Дюшамбе».

В ответ было написано так:

«АДРЕС

Вакиль-мухтара Восточной Бухары,
консула военного назира и начгара Морозова, командующего войсками Восточной Бухары.

С нашей стороны вам приветствие. Вами посланная бумага нами получена. Нам приятно было слышать, что вы здоровы. Вы в бумаге объявляете нам, чтобы дюшамбинский гарнизон сдали вам и ушли. На этот вопрос мы вам ответ даем, что Бухарская советская власть заключила с вами мир и предприняла шаги для дружеского объединения. Было с обеих сторон подписано, чтобы военные действия не возобновлялись, было заключено условие о выводе русских войск и было приступлено к осуществлению этого, и часть войск была выведена, и русские войска приостановили военные действия и продолжали уходить. Но вы сами, не соблюдая заключенного договора, стали преследовать русские войска, беспокоя их вооруженными нападениями. Если часть войск задержалась в Дюшамбе, то виноваты только вы, так как, не сдержав заключенного договора, объявив (начав) военные действия, окружили город. Если бы вы сами не открыли военные действия, русские войска ушли бы. Вы просили, чтобы мы сдали вам имущество и оружие. Если у вас хватит силы, то придите и возьмите, но мы не отдадим. Что же касается перечисленных городов и вилайетов, то мы сами знаем, что там делается. Да пусть будет вам известно, что мусульманская Бухарская республика и РСФСР действуют рука об руку и победить их невозможно. Если вы не оставите оружия и не займетесь своими делами, то мы ни одного не оставим в живых. Бог правду знает и видит, по чьей вине проливается кровь, и вы сами будете отвечать за пролитую кровь, и вся несправедливость и кровь будут лежать на вас. Если вы верите в бога и его заповеди, то сами бросите оружие и займетесь мирным трудом. И тогда русские войска прекратят военные действия и без пролития крови уйдут отсюда. Попешите ответить на это письмо.

2. X. 21 г.

Подписи».

Правду ли писали басмачи, что «все владения Каратегина, Куляба, Балджуана» и т. д. подчинены им? Да, почти все правда. Только второй список, начинаю-

щийся с Байсуна, не верен: во всех перечисленных пунктах стояли достаточно сильные гарнизоны, достаточно освоенны были республиканской властью дороги, достаточно трезво глядело на вещи население. Здесь бывали только отдельные нападения басмаческих шаек на город и грабежи (даже город Бухара подвергался этому), да население многих из них в значительном количестве оставило свои дома и ушло в горы к басмачам. И, очевидно, кишлаки потеряли советский облик, который покамест и вообще-то был в них не очень ярко выражен. Следует внести ограничения и в первый список, — касательно Кабадиана и во всяком случае Паттагисара. В остальном же первый список на весь конец 1921 года и первую половину 1922 вполне верен. Владения Куляба, Балджуана, Кургантепе, а также и Гарма, и Кафирнигана, и Каратага, и Юрчи были это время «под властью людей ислама». Я раз или два с отрядом выезжал по Байсуновскому дорожке до Денау. Большие кишлаки по дороге, иногда именовавшиеся городами, — Регар, Сары-Осия, Юрчи, Денау — совершенно пустовали; они лежали на той дороге, где часто проходили за время осады Дюшамбе — из Дюшамбе и в Дюшамбе — наши отряды, обозы. Когда отряд приближался к такому кишлаку, другой отряд, басмаческий, выскакивал из него с другой стороны и мчался вниз к реке, в камыши.

Да, верховья Сурхана и Кафирнигана, долины Вахша, Ях-су и Пянджа были заняты «людьми ислама». Я рисовал себе картину властничанья «людей ислама» в этих местах, я одевал в плоть и кровь каждое из сообщений, которые диктовал мне консул для донесения в полпредство или я сам получал от штаба, от разных людей, умевших знать больше меня. Басмачество не едино, басмачи воюют племенами. Наиболее воинственны и злы на советскую власть локайцы (узбеки) и матчинцы (таджики), пришедшие, кажется, с севера. Каждое из племен имеет своих вождей и своих старейшин. Каждое племя воюет самостоятельно, общего командования нет, есть только согласование дей-

ствий на каждый отдельный момент. Начальники племен не хотят подчиняться никому из своей среды. Начинает выделяться из них Ибрагим-бек, но пока и он вождем только своего племени, только наиболее активного, а не господствующего — локайцев. Кто — вожди, кто — старейшины этих племен? Это — или эмирские чиновники, беки, владевшие своими вилайетами и туманами по эмирской грамоте, платившие ему дань, но почти независимо управлявшие своей вотчиной на основе феодальных порядков и обычаев дореволюционной Бухары; или это — «духовные вожди», ишаны и муллы, лишенные «десятины» в результате революции; или, наконец, это — то, что в Манчжурии, например, называется хунхузом — бандиты, вольница, гварии которых были беками не по эмирской жалованной грамоте, а в захватном порядке, они как раз первоначально и назывались басмачами. Ибрагим-бек был полубандит, полумулла, сначала больше бандит, потом все больше и больше мулла. Из других басмаческих имен я вспоминаю еще только Ишан-султана таджикского.

Наши ответы басмачам писались у бакиль-мухтара, в крепости, куда собирались на совещания главные люди обеих половин совласти и Дюшамбе — бухарской и русской. Сурия-бек, вакиль-мухтар, внушал симпатию. Черноволосый и ширококостный, с бородой клинышком этот турок был, однако, мягок, белотел и в разговоре стеснителен, русским языком владел он нетвердо. Очень хорошо он хлопал в ладоши белыми своими руками, чтобы вызвать к себе своего писца и служку. Ему не слишком везло в карьере. Он знал, что против него интриговали в Бухаре, чувствовал себя на своем посту нетвердо, поджидал смены. Интриговали против него и в Дюшамбе. Его обвинили в измене, в тайных сношениях с басмачами, и, запутав русское командование, арестовали его с помощью особого отдела. Как-то Сурию привели под конвоем в консульский дом и заперли в темной нашей кладовке. Он сидел дня два. Уполномоченный особого отдела Павлов разоблачил дело. Павлов имел внешность со-

вершенно юношескую, даже девическую, скромней и мягче его, кажется, не было человека. Маузер у него при поясе казался неправдашным, преувеличенным. Но Павлов был на своем месте, и, с кем надо, он умел расправляться. Он установил, что измены не было, что была клевета, и Сурия снова вернулся в крепость вахиль-мухтаром. Скоро он дождался преемника. Интриги внутри бухарских властей не раз грозили сорвать оборону. И сорвали — но это позднее. Вожди бухарской советской власти вышли из младобухарской среды. Настроения молодого бухарского либерализма изживались не сразу, и рецидивы его случались часто. Приспособленцев было сколько угодно; правда, иной раз они слоями отсекались, но по началу не очень решительно. Отсеченные члены, если не убежали в Афганистан, снова тянулись к телу, и прилипали, и отравляли его буржуазным национализмом, так что и все тело начинало казаться не чистым и требовало настоженного глаза и особой деликатности.

Уже два месяца длилась осада города. Уже начал складываться в осажденном городе осажденный быт, скучный быт. В консульстве шесть человек жили, как шесть холостяков. Бухарские присылали нам живого барана, рису и лепешек или муки. Красноармейцам — охраняли консульство — нечего было охранять консульство, весь город охранялся красноармейцами. Дежурства они не несли.

Они брали барана и резали его. Отделяли баранье сало и резали его на кусочки. Потом мыли казанок и клали в него сало. Казанок укреплялся на кирпичиках снаружи, у стены дома, и под казанком разводили огонь. Топили сало, жарили в нем кусочки мяса, варили рис и томили его на потухающем огне, и получался полау. Казан сносили на крылечко, и, сев над ним в кружок на кирпичиках, мы ели жирный полау, мы могли отъедаться, как в санатории.

После обеда курили чилим, желтый местный табачок, который в соединении с анашой через воду давал бы опьянение. Но мы курили его по-русски, как махорку. Рассказывали друг другу

всякие рассказы (я не рассказывал, я любил слушать). Красноармейцы были туркестанские старожилы из семиреченских станиц или еще откуда-то. Край знали, смешного много знали, были добродушны. Швеи врал, он умел врать. Завхоз Швеи был большой ростом, он обладал всеми качествами «характерного» завхоза, только не имел возможности их развентурить.

Консул и Швеи часто ездили в крепость, в город, и по делу и так. Я бывал там редко, человека себе в приятели я не находил. Одно время я думал было подружиться с ташкентским студентом Восточного факультета — Ивановым, который переводил басмаческие письма. Студент был симпатичный, серьезный, немного вялый, — его мотала малярия, и он скоро уехал. В крепости жила врач Покровская, женщина с крепкими зубами, а позднее приехал ее муж на должность военного атташе при бухарских. Иногда Покровские звали нас на пельмени, мы делали их вместе, это было празднично, гостеванно. Дипломатических банкетов не устраивалось, мне смешно при одной мысли об этом. Еще чего не было? Бани не было, мылись кто как умел. Перспектив не было. Когда замиряются басмачи? Когда придет подкрепление, чтобы можно было их расстрелять? Жерлина не было — чего не едет? Моя должность в консульстве рассчитана была на мирную обстановку. То ли дело — раз'езжать по горам и ущельям и по аксакальствам и бекствам, собирать материалы по экономике и быту гор, вникать в язык, — а тут изволь терпеть войну.

Я разыскал в пожку библиотеку и брал оттуда большие книги в красивых переплетках: историю искусств, Шекспира в венгеровской редакции (не знаю, книги эти как туда попали). С собой у меня были стихи имажинистов. За русскими домами был пустырь с длинными низкими заброшенными градами, обсаженный тополем. Оттуда хорошо были видны басмаческие горы. Валялся лошадиный скелет, уже весь обглоданный и высохший. Я садился на бугорок и декламировал из Есенина:

В прозрачном холоде заголубела долы.
Отчетлив стук подкованных копыт.
Листва поблекшая в растеленные поля
Свивает золото с обветренных раки.

Это был любимый стих. Золото с обветренных тополой шуршало под ногами, его было сколько угодно, в руках оно ломалось и легко растиралось в порошок, его можно даже было курить.

Осажденный город покинули жители, но еврейский квартал оставался. Евреи в эмирской Бухаре, так называемые бухарские евреи — тип, изменявшийся веками от соседства с тюрками, с персами. Они были здесь настоящими париями и в знак отверженности должны были носить веревку вместо пояса (вместо платка, которым подпоясываются узбеки и таджики). С революцией они первым долгом скинули веревку, но других видимых изменений революция покамест в их жизнь не внесла (их женщины лица не закрывают, но не закрывали и раньше). Из консульства в крепость можно было проехать и через еврейский квартал. Еврейская улица жила попрже: еврейские дети дразнились из дверей, и даже какая-то скотинка гуляла по кварталу. Еврейские женщины приносили нам молоко и сыр, еврейский портной шил на нас штаны и рубахи из маты. Я видел евреев и в Старой Бухаре, их лица были веселы, они сочувствовали революции, и даже в осаде они не очень унывали. Я любил проезжать еврейским кварталом.

Красноармейцы размещались в покинутых домах-дворах бухарского населения и устроены были прескверно. Бухарцы увезли с собой в горы (или сожгли) все, что было деревянного в их домах и что легко отрывалось: дома были «без окон, без дверей», с дырами. Зимой, в дождь, в слякоть жить там было трудно, нужен был героизм. Грязно было в ротах, тесно было, скудно было, угрюмо было в ротах.

III

До ноября Дюшамбе — очень просторный город — был резервуаром, наполовину пустым. В ноябре он начал постепенно наполняться: стали прибывать и войска, и просто люди. К декабрю все

камеры этого резервуара оказались уже довольно наполненными — и бухарская, и русская, и военная, и гражданская — и консульство, и штаб, и крепость, и город, и окопы.

Перемены начались с нашей консульской камеры. Консул Белицкий состоял слушателем какой-то из военной академии, он давно должен был уехать на занятия и нетерпеливо ждал себе заместителя. С одним из отрядов, шедших на смену дюшамбинскому гарнизону, заместитель прибыл. Дюшамбинский гарнизон устал, исхудал; болел малярией, нуждался в поправке. Из Дюшамбе вышел наполовину больной караван, с ним и уехал Белицкий, а с Белицким и Швец. Преемник Белицкому был Дуров. Он уже консульствовал здесь еще тогда, когда дюшамбинское консульство не было генеральным, а было консульским агентством. Дуров был очень молодой человек, скупой на слова, даже угрюмый, но всегда избиравший к цели наиболее прямой путь. Он знал, что должен делать, и знал, что его интересует и что не интересует, и не разбрасывал своего внимания по сторонам зря. Он мало считался с людьми, которые ему не интересны, не стесняясь, выражал человеку свою антипатию, но антипатии его всегда были обоснованы и почти всегда верны. Дуров был прислан временно, ему тоже шла смена.

Шел большой караван, пестрый караван, шли новые войска, бухарские войска, шла бухарская Красная армия. Новый караван прибыл в Дюшамбе в начале ноября. Для ликвидации басмачества бухарское правительство послало в качестве чрезвычайного своего уполномоченного важнейшее лицо в государстве — самого председателя Бухица Усмана Ходжаева. Это был, так сказать, особо чрезвычайный уполномоченный, с неограниченными полномочиями, чрезвычайный уполномоченный! Бухправительство посылало также собственный большой отряд бухарской Красной армии во главе с Али Ризой. Это был доблестный отряд. В составе этого большого отряда был маленький отряд, особо доблестный отряд кавказцев под командой Даныяра. О Даныяре, впрочем,

можно не шутить, по всем отзывам это был добрый вояка, с превосходной личностью налетавший на басмачей и обрававший их в постыдное бегство. Даныяр партизанил в составе регулярной армии, он с отрядом своим жил, душа в душу, и сам он был простодушен. По внешнему складу он напоминал русского чернявого и широконогого мужичонку, был мужичонкой простецким и компанейским. Хорошие люди дружили с ним, например, Дуров и кое-кто из русского комсостава. Али Риза, наоборот, был чазнен и задирист, этот турецкий офицер на бухарской службе. Он был ростом не велик, как все великие полководцы (даже неудачники). Ближайшим помощником у него был другой турецкий офицер с фамилией, начинавшейся на ф, если не ошибаюсь. Предбукзика Усмана Ходжаева, нового вакиль-мухтара, я так и не выдал. Всякий раз он занимался столь важными государственными делами (как говорилось в ответ всем приходящим), что не имел ни минуты свободной для маловажных дел. Почти безвыходно сидел он в самой глубокой лабиринта крепостных проходов и комнатушек.

И в консульство приехали новые люди, целых трое. Во-первых, новый консул Нагорнов. Это был первый консул, который по внешности и по костюму и по разговору был действительно похож на дипломата. Прежде он служил в консульстве во Франции, в Марсели. Он приехал с женой, французенкой. С его появлением консульство сразу приняло относительно благопристойный вид, соответствующий его назначению. Комнаты были быстро меблированы. Одна из них обращена в жилье для супругов. Другая — в канцелярию, и в канцелярии этой утвердилась на самом большом столе новая пишущая машинка. Приехала и машинистка, но ее скоро пришлось устранить от дел, ей трудно стало доверять «дипломатические секреты». Консул перенес тогда машинку к себе в комнату и писал на ней все сам. Он очень любил машинку, ему трудно было доверять ее людям, не знающим, как с ней обращаться. А писать на машинке ему и самому нравилось. Я замечаю, что

начинаю иронизировать. Это остатки тех сарказмов, с которыми мы встретили еще тогда эти первые признаки цивилизации (машинка, женщина!). Мы сами были людьми, изрядно одичавшими в осадной обстановке, и жили с непоколебимой убежденностью в тщете всякой цивилизации. Мы были грязны, одеты были как попало, — ходили все холостяками, — ели без вилок, писали карандашом, даже печати своей у нас в консульстве не было, пользовались бухарской. А Нагорнов привез консульскую печать, и печать цивилизации легла отныне на наше бытие. Мы сопротивлялись, память донесла это сопротивление досюда, я кладу его на бумагу так, как оно сохранилось. Я не спорю о правоте. Даже согласен, что не прав. Но все равно — написать и это надо.

С Нагорновым вместе приехал Насырбаев, вридсекретаря консульства. Это также был человек, не охочий до цивилизации. Совсем молодой парень, таджик, окончивший русскую гимназию в Чарджуе (или не вполне окончивший?), он не был полным интеллигентом. Он состоял раньше секретарем у Дурова, когда тот был здесь агент-консулом. Они жили приятельски, и много забавных рассказов можно было услышать из их жизни, сейчас я ничего не помню. С Насырбаевым я скоро сблизился.

Начальником отряда приехал Морозенко (может быть, он приехал не с этим караваном, а несколько раньше). Он казался мне симпатичным командиром, хотя больше штабным, чем фронтовым. Он тоже имел некоторую подтянутость в одежде и в манерах, по сравнению с грубоватыми прежними командирами. Военкома у него не было, был поимвоенкома Мухин, очень бесцветная и робкая фигура, никак не соответствующая тому блестящему генералитету, который прибыл в Дюшамбе с ноябрьским караваном.

Начался период «большой политики». В городе стало шумно и суетливо. В городе стало все очень официально и церемонно. Сталкивались между собой, вели переписку за входящими и исходящими номерами не люди, а чиновничьи самолюбия. Усман Ходжаев важничал,

он привез с собой свой бюрократический аппарат и посадил его при себе в крепости. Сурия-бек был выселен из крепости и жил в городе на положении опального боярина. Я виделся с ним один раз, он откровенно жаловался на притеснения и оскорбительные выпады Усмана Ходжаева. Начгар и военный назир Морозов были смещены с должности, — ведь приехал Али Риза, так что теперь Морозов начальствовал, кажется, всего только над пулеметной командой, состоявшей из русских красноармейцев, но оставшейся в крепости.

При Сурия-беке отношения между русской и бухарской частью дюшамбинской обороны были вполне дружественными. Доброе согласие и взаимное доверие царили тогда во всех действиях. Во всяком случае, если и была какая-нибудь доля настороженности, то она не обнаруживалась ни в действиях, ни в тоне разговора. Случай с арестом Сурия-бека не показателен или, наоборот, как раз очень показателен в обратном смысле: ведь уполномоченный бухправительства Сурия-бек был арестован по обвинению бухарской части, а освобожден по дознанию русской частью. С прибытием Усмана Ходжаева и Али Ризы отношение между русской частью и бухарской все больше и больше обострялись, а моментами принимали характер почти вооруженных столкновений. И началось это еще в пути. Так, по рассказам, отряд Али Ризы в Юрчах пытался отнять какие-то арбы у русского отряда, шедшего из Дюшамбе (того самого, с которым уехал Белицкий). По прибытии в Дюшамбе была попытка со стороны солдат Али Ризы разоружить русскую заставу 3-го батальона, чтобы стать на ее место для охраны города.

Усман Ходжаев, глава бухправительства, с прибытием в Дюшамбе (или еще раньше) объявил, что его задача заключается в решительной ликвидации басмачества и полном удовлетворении нужд мирного населения Восточной Бухары. Он сам берет в свои руки все руководство борьбой, его военные силы под командой Али Ризы поведут вооруженную борьбу с басмачеством. Вские переговоры с басмачами и заключение мирно-

го договора с населением также будет вести он единолично. Поэтому все соединенные русско-бухарские силы должны быть подчинены бухарскому военачальнику Али Ризе, а не русскому командиру Морозенке. Этого он и требовал официально через консула. Это и было главным пунктом разногласий. Независимо от этого Усман Ходжаев настаивал на замене русских частей по охране города бухарскими, ссылаясь на усталость русских частей. В этом пункте русское командование пошло на уступку, и отряд Данияра, достаточно высоко стоявший по боевым качествам, был допущен в службу обороны на одном из участков оборонительной линии. Бесконтрольно предоставить бухарцам борьбу с басмачеством, сношение с ними, особенно военное командование было нельзя из политических соображений, на мой взгляд абсолютно правильных. Я уже говорил выше о младобухарском происхождении правивших в это время Бухреспубликой кругов, о недостаточной чистоте их советского лица. История борьбы с контрреволюцией в Средней Азии — в Фергане, в Закаспии, в Сырдарьинской области, в той же Бухаре — к 1921 году уже достаточно изобилвала примерами предательства со стороны людей клявшихся в верности советской власти. Реввоенсовет Туркфронта в Ташкенте и полпредство РСФСР в Бухаре, управляющие дюшамбинскими делами по радио, хорошо знали это. Отсюда ясно, почему притязания Усмана Ходжаева были отвергнуты. Ему было предложено подчинить бухарские войска русскому командованию. Усман Ходжаев не шел на это. Впадая в противоречие с самим собой, он мотивировал это тем, что, дескать, 500 человек бухарских войск даны ему бухправительством в качестве личной его охраны. Долго тянулась эта история!

Пункт о командовании был пункт существенный. Но неприязненность в отношениях обеих половин сказывалась и в мелочах. Одна за другой начинались всяческие придирки и уколы. Нужно сказать, что инициатива в этих случаях всегда исходила из крепости: ни консул Нагорнов, ни нач. отряда Морозенко

просто не были по натуре людьми инициативными (и не только в этом). Тогда это раздражало нас, как мешанская ссора в делах, требовавших серьезности и единодушия, и казалось непонятным. Поведение бухарцев объяснялось тогда нами как проявление уязвленного национального самолюбия и министерского чванства Усмана Ходжаева. Однако очень скоро выяснилось, что все было только подготовкой к агрессивным действиям определенного политического свойства.

Усман Ходжаев пошел на уступку. Он отказался от притязаний на командование военными силами и дал согласие подчинить свой отряд во всех боевых действиях русскому командованию. Это еще не было никак оформлено, не было объявлено по бухарским частям.

9 декабря утром консул получил от самого предбукхика записку, приглашающую его с супругой в крепость «на чашку чая». И начальник отряда с военкомом получил тоже. Консул был по этому случаю в несколько приподнятом состоянии. Казалось, начинается наконец мирное сотрудничество. Консул очень устал от склоки, был он миролюбивый человек. Он верил в лучшее будущее. Он верил — и боялся, и говорил с нарочитостью:

— Ну посмотрим, какую штуку они нам еще преподнесут сегодня «за чашкой чая»!

Весьма нарядно и торжественно отправившись консул с женой и Морозенко с Мухиным к вечеру «на чашку чая» в крепость. Мы остались ждать. Насырбаев почему-то предпочитал жить не в консульском флигеле, а в штабном. Должно быть, приязнь была у него там. Я пришел к нему, в комнате были кто-то из штабных, потом ушли, мы сели играть в шахматы. Мы играли, потом бросили игру и болтали, потом снова играли, снова болтали. Прошло уже много часов, но вечер нам все еще не казался долгим. Кто-то из штабных зашел и спросил, вернулся ли из крепости консул.

— Не знаем. Посмотри в консульстве!

— Наш Морозенко тоже не вернулся, — говорят нам.

— Ну, придут, ладно! — и мы продолжали болтать.

Нас поднял на ноги человек, вбежавший нам в комнату с сообщением экстрординарным. Говорил он возбужденно:

— Ребята! Консула нет, Морозенки нет, а из третьего батальона пришла рота, наших разоружают даньяровцы.

Тут мне не все ясно помнится. Очевидно, вскочили мы с Насырбаевым, наскоро расспросили у пришедшей роты подробности.

В Дюшамбе тогда стояло русских три батальона. Первый и третий располагались в городе, второй — в районе русских домов. Командира первого батальона не помню, третьего — командиром был Гринчевич, а командира второго батальона я помню очень хорошо, все помню — и лицо его розовое, и юность, и задор, и только фамилию я забыл.

Должно быть, послали мы кого-то узнать, что делается в остальных русских частях в городе и совещались с командиром второго батальона, что делать самим. Факт измены бухарцев выяснен. Догадаться не трудно было, что консул и остальные уехавшие «на чашку чая» арестованы в крепости, и бухарцы решили силой захватить власть в свои руки. Ясно, что нас им разоружить уже не удастся. Но нужно сейчас что-нибудь предпринять, чтобы не только освободить наших, но и... Насырбаев берет инициативу в свои руки. Я представляю себе, как должен был происходить этот разговор. Насырбаев хватает нас за рукава и отводит в сторону, меня и комбата. И говорит очень возбужденно, полушопотом, глотая слова:

— Надо сейчас же взять человек тридцать ребят, прихватить пулемет легкий...

— «Люиса» возьмем, ручной пулемет! — подхватывает комбат, еще не зная, о чем речь.

— «Люиса»! — соглашается Насырбаев, — и в крепость!

— Там ведь наши ребята — пулеметчики, свои, мы с ними говорились, — тороплюсь я объяснить все комбату.

— Вот, вот! — подтверждает Насырбаев, — проберемся в крепость и сейчас же к этим ребятам. Разбудим, и так та-

парахнем по крепости из всех пулеметов сразу, что они со страху штаны спустят!

— Идет, идет! Давай, набирай ребят!

Второй батальон уже на ногах. Мы берем тридцать красноармейцев, двое несут «Люис», остальные вооружены винтовками, и мы выходим в город.

Ночь еще темна, но скоро рассвет. Дюшамбинские улицы полны грязи. Пустырями, где посуше и покороче, мы пробираемся гуськом в крепость. Мы пересекаем базар, и здесь мы слышим откуда-то конский топот, приближающийся к нам. Мы принимаем к стенкам торговых помещений под навесами. Бухарский конный отряд человек в 15 проходит мимо, расшлепывая грязь. Мы продолжаем путь и скоро подходим к крепости.

Шагах в двадцати мы видим всадника, выезжающего из ворот. Спрятавшись за дувал, мы поджидаем его. Он подъезжает ближе, мы выскакиваем, комбат с красноармейцами стаскивают его с коня, отнимают ружье. Он пытается кричать. Его берут за горло, он опять вскрикивает. Я в двух шагах. «Э, на войне — как на войне!» — думаю я, не бывавший ни разу в строю. Я поднимаю винтовку и ударяю человека прикладом по голове. В тот же момент в воротах показывается второй всадник и, увидев издали, что происходит, тотчас же поворачивает коня и вскакивает в ворота. Он поднимает тревогу в крепости. Неудача! Комбат отдает приказ отступить. Мы спускаемся дорогой вниз к Дюшамбинке и низом возвращаемся в расположение русских домов.

Рассвело. В расположении русских домов в наше отсутствие прибыли остальные роты двух разоруженных батальонов. Одной роте удалось уйти с оружием. Остальных вооружаем запасными винтовками. Начинаем готовить оборону. Ставим на крышу штаба наблюдателей, и даже, кажется, пулемет туда втаскивается. Распределяются красноармейцы за дувалами вокруг русских домов. Пробиваются бойницы. Суматоха. В суматоху падает крик наблюдателя.

— Даньяровцы!..

По дороге от Дюшамбинки показывается конный бухарский отряд. Узнают даньяровцев. Моментально в суете и торопливости выкатывается за ворота пулемет и уже трещит вдоль дороги. Даньяровцы отпрянули, спешились, залегли цепью в канаву, начинается перестрелка. Славную встречу получил Даньяр!

Неожиданно среди нас появился командир третьего батальона Гринчевич. Это — боевой комбат, достаточно опытный в военных делах. Он рассказывает: ночью заявляется к нему в батальон Даньяр с письменным приказом о передаче ему, Даньяру, позиций и сдаче оружия, за подписью Морозенки и Мухина. Комбат Гринчевич сомневается. Он хочет получить подтверждение устно от комбрига и военкома. Даньяр предлагает ему поехать в крепость и удостовериться самому. Выходят во двор — двор уже полон даньяровцев. Уже идет разоружение. Едут с Даньяром в крепость. Здесь Морозенко и Мухин в бухарском окружении подтверждают приказ, который должен быть исполнен немедленно. Затем выводят Гринчевича из комнаты, он снова говорит с Даньяром. За махоркой, что ли, сидя где-нибудь под навесом, используя прежнее прикрытие, Гринчевичу удается уговорить Даньяра отложить разоружение второго батальона (что в русских домах) до утра. «Дескать, все равно не уйдет, вместе поедем разоружать, коли есть приказ!» И вот утром они выезжают. Они встречены пулеметом. Пользуясь суматохой, Гринчевич дает шпоры коню и по-за дувалами влетает в расположение оборон. Так он в наших рядах.

Скоро на помощь Даньяру прибывают части Али Ризы. Они обкладывают участки русских домов и против наших бойниц прокалывают в дувалах свои бойницы. Не прекращается перестрелка. Мы передаем командование всеми нашими силами Гринчевичу. Как-то само собой образуется штаб обороны — двое нас, консульских, и два комбата — это безо всяких таких приказов и выборов, как факт. Мы обходим линию обороны. Красноармейцы уже понатащили соломы, поразложили шинели под ду-

валами, под бойницами. Покуривают, посмеиваются, постреливают. Мне любопытно снять с плеча винтовку, подойти к бойнице и ударить в бойницу противника. Проходишь дальше — выяснять запасы продовольствия. Нас радует ситуация, мы горды.

Осада длится три дня.

Очень трудно писать красиво и даже просто писать, не выдумывая. Это было бы сравнительно легко, если бы все до мелочей помнилось ясно: действия, движения, жесты, интонации, мимика в каждом отдельном случае. Тогда бы можно, не заботясь о слоге, писать подробно, просто перечислять все по порядку. И несомненно получилось бы красиво. Мы ведь не дооцениваем сухой подробности письма. Но сейчас это безвозвратно для меня потеряно. Я не помню подробностей, а помню только главное. И пишу, что помню, и очень трудно это писать, не выдумывая. Вот я уже чувствую, что сейчас что-то выдумал. Не факты, разумеется, а, очевидно, в tone изложения что-то наплел не так, как было. Чего же не было? Легкости, очевидно не было и беспечности тоже, и никакой четкости не было. Когда встречали Даныяра, — самое главное была суматоха, «тамаша», как мы называли это тогда. Разумеется, кто-то кричал, кто-то распоряжался, я и сам кричал и распоряжался.

Но, очевидно, все делалось не по распоряжениям, — распоряжения скакали в воздухе, — а как-то совершенно само собою. Наверное, и наблюдатель влез на крышу сам, и может быть, даже и пулемет сам туда влетел. А что на дорогу вылетел второй пулемет сам собою и затрещал — это уже несомненно. Я же ведь видел своими глазами, как он летел, не обращая внимания на руки, которые его толкали, сам повернулся в сторону Даныяра, нетерпеливо расталкивая те же руки тех же людей, которые прыгали вокруг него. И люди эти скакали над пулеметом сами, не по приказанию, потому что очень необходимо было скакать, — невозможно было удержаться.

Когда обходили потом линию обороны, было уже совсем другое. Я, должно

быть, прямо там наврал, что «посмеивались, постреливали». Сказать можно только, что кое-кто усмехался из красноармейцев, кое-кто курил, и нехотя кое-кто приподнимался на локте, совал ствол в бойницу и палил «в белый свет, как в копеечку», по выражению Гриневича: надо было ведь время от времени дать знать Али Ризе, что оборона на месте, и подстрелить кое-кого, может быть. Все это надо исправить, потому что ведь это было уже в момент реакции после суматохи, когда отбой уже был дан, нового наступления Али Ризы не велось и все члены у людей пообмякли, пораспустились и поугромели и, ведь, оставалось совсем неясным, что будет дальше. И мы проходили линией обороны довольно лениво, совсем неразговорчиво, только в порядке официального «подбадривая бойцов». И я взял винтовку, чтобы пальнуть в бойницу.

Изю всего рассказа об этой ночи более или менее правильно передано только о настроении во время игры в шахматы и болтовне с Насырбаевым и о том, как решили идти на крепость. В рассказе же о том, как шли к крепости и разоружали всадника и отступали, ничего не сказано о настроении. Это тоже должно быть правильно, потому что, когда мы шли городом, притаившись, пропускали мимо бухарский отряд, сознание, кажется, вовсе отсутствовало, и эмоции были «в нетех». Действовали мыслительные рефлексы (или волевые, — вернее, подневольные), которые отштамповывали каждое наше движение в соответствии с какими-то ранее образованными и давно отстоявшимися тезисами, что ли.

Во всех наших движениях этой ночи и утра преобладал, очевидно, инстинкт массы, инстинкт коллектива. Каждый чувствовал себя в тесной и эластичной, неотрывной связанности даже с пулеметом и с крышей, и с воротами, и с дорогой. Должно быть, так и Гриневич примагнитился к нам в отряд, легко отскочив от чужеродного тела, когда вошел в магнитное поле русских домов.

Продолжаю о событиях. В тот же день было получено от Усмана Ходжае-

ва и Али Ризы письмо. Оно было написано стилем победителя, который, однако, хочет пощадить побежденных. В нем сообщалось нам, что наше положение все равно безнадежно. Что вот-вот сейчас будут двинуты на нас главные силы, и жалкое наше укрепление будет взято, причем за кровь Али Риза, так сказать, не ручается. В информационной части письма сообщалось, что мы имеем дело не с чем иным, как с панисламистским движением. Кажется, именно в этом письме было впервые упомянуто имя Энвера-паша. О нем, вероятно, сообщалось, что он возглавляет это движение; может быть, еще сообщалось и об обстоятельствах его появления в Бухаре, — что он явился из Афганистана, что действия его не только согласованы с эмиром афганским, но и что сам эмир афганский также является высоким руководителем движения. Может быть, было упомянуто и о шахе персидском, и о Кемаль-паше турецком, — может быть, и нет. Но во всяком случае уверялось, что движением захвачен весь мир ислама и что священная война всего ислама против неверных сейчас уже факт. Что касается Бухары, то вся Бухара уже охвачена восстанием, не только Восточная, но и Западная. Перечислялись в письме отдельные пункты, уже захваченные восставшими, отдельные деяния священной войны, уже совершенные. Так, в числе прочих пунктов говорилось, что взорван Чарджуйский мост через Аму-Дарью, грандиозное сооружение, всегда прекрасно охранявшееся.

Вслед за устрашающей частью шла в письме часть милосердная. Нам при условии сдачи была обещана жизнь. Нам предлагалось сдать все оружие, все артиллерийские припасы, весь транспорт и все имущество за исключением личных вещей. Таково-де и распоряжение консула и начальника отряда Морозенки. При этом условии предлагалось проводить нас пешком, но под охраной войск Али Ризы (для защиты от басмачества) до Самарканда и передать нас целыми и невредимыми в распоряжение властей и войск РСФСР.

Мы читали это письмо в маленькой комнате в одном из длинных флигелей,

где был штаб второго батальона (или просто — где жил командир второго батальона с кем-то еще). Мы сидели за столом четверо, и комната была полными-полна командирами рот и красноармейцами. Я не помню, как выражалась наша реакция на это письмо. Во всяком случае элемент иронии был уже в выговаривании слов письма Насырбаевым. На меня и несомненно еще кое на кого в первый момент угрожающий тон письма действовал. Я не знаю, на кого как он действовал, но во всяком случае никто не подавал вида, что как-то действует, и я в том числе. Наш дух окончательно укрепил Насырбаев. Он уже был в подобной переделке в Керках. Там ничтожная кучка басмачей, осадив крепость, точно так же выдавала себя за отряд всеобщей священной войны. И точно так же перечисляла города, охваченные восстанием, и точно так же уверяла, что Чарджуйский мост взорван. Между тем мост, ведь, стоит, и вообще все это вранье.

Ответ был составлен в том же духе, как прежде писались ответы басмачам: дескать, если можете нас разоружить силой, попробуйте, а сами мы оружия не отдадим и никуда покамест отсюда не уйдем, и будем обороняться до последнего человека. Что распоряжение наших начальников — консула и Морозенки — мы исполнить не можем, поскольку они делаются из плена. И только, если начальники наши придут сюда к нам сами и подтвердят свои распоряжения здесь, у нас, мы согласимся исполнить то, что они нам прикажут. В этом последнем предложении нашем таился коварный замысел, хотя, может быть, и наивный: что если нам пришлют арестованных, то они уже не уйдут обратно в крепость, и таким образом мы лишим крепость заложников.

Мы получили второе письмо. Мы еще написали, — между нами завязалась оживленная переписка. С каждым письмом изменники снижали тон. С каждым письмом все больше и больше ограничивали свои требования. Сначала нам позволили отправиться в Самарканд своим транспортом и взять все имущество, кроме военного. Потом предпо-

жили снабдить нас ихним транспортом, если у нас нехватает, и продовольствием на всю дорогу. Потом разрешили даже взять с собой оружие, и вообще все, что нам захочется, — только уйти. На этом переписка оборвалась 12-го числа.

Должно быть, 11-го в ответ на наше настойчивое требование вернуть пленников, к нам прислали Нагорнова. Морозенко и Мухин и жена Нагорнова остались в крепости. Консул должен был подтвердить нам приказ о разоружении русской части гарнизона, и Нагорнов подтвердил подлинность приказа о разоружении. Он верил, что весь Восток охвачен восстанием, он думал, что душамбинскому гарнизону одному все равно не устоять. Он рассказал, что Усман Ходжаев заключил мир с басмачами, и вооруженные до зубов басмачи расхаживают по крепости, и только охрана Али Ризы спасает их, пленников, от басмаческой расправы. Басмачи заглядывают в клетку, в которой заключены пленные. Это страшно. Он посоветовал нам сдачу.

Мы пытались разубедить его, уверить, что всеобщее восстание — вранье. Что Чарджуйский мост — только популярный анекдот, случайно неизвестный ему, что мы должны держаться, вызвать помощь (я не помню, была ли еще радиостанция в наших руках. Во всяком случае изменники не могли воспользоваться ею для передачи своей информации в Бухару или куда-нибудь еще. Может быть, она была в полосе обстрела). Говорили мы сначала иронизируя, потом раздраженно. Кажется, консул начал колебаться. Кажется, уходя обратно в крепость, он не повторил своего совета и сказал: «Как знаете!»

Осада продолжалась. Перестрелка продолжалась. Али Риза не повторял атаки. Осада начала утомлять. Утомляла неизвестность и требовала какого-то скорого выхода. Мы были пассивны. Мы только оборонялись, мы ждали событий. Не могли ли бы мы сами проявить инициативу? Изменники в письмах снижают тон, значит — они уж не так уверенно себя чувствуют. Может быть, у них между собой не все ладно. Может быть, например, между Али Ризой и Данияром

нарушено согласие. Данияр ведь партизан, он и прежде не всегда считался с приказами Али Ризы. Стоило бы что-нибудь предпринять нам самим!

Я предложил попробовать наступление с частью нашего отряда. Может быть, мы могли бы повторить опыт нападения на крепость, неудавшийся в ночь на 10-е число? (Впрочем, в ту ночь он был обречен на неудачу — наши пулеметчики в крепости были также арестованы во главе с Морозенко.) Насырбаев согласился с этим. Гринчевич тоже, о командире второго батальона и говорить нечего. Мы созвали совещание комсостава. Совещание решило, однако, воздержаться пока: нас мало, их много, нам нецелесообразно дробить отряд. Нужно дожидаться помощи, нужно переждать событий. Ротные командиры были молоды, может быть, они еще не бывали в бою. Я с неудовольствием вспоминаю это совещание. Должно быть, и все-то мы устали, может быть, действительно нужно подождать — если не помощи, не событий извне, то просто переждать, пока улягутся нервы. Мы, «штаб», больше не настаивали. Однако, один из ротных командиров (я помню его хорошо, старого ротного, но фамилия опять исчезла из памяти) с кучкой своих красноармейцев сделал-таки вылазку в расположение неприятеля и доложил, что стойкого сопротивления он не встретил, сумел пройти довольно далеко в город и вернулся без потерь. Это было показателем слабости противника. Я снова поднял вопрос о наступлении. Решили попробовать на другой день, — но события предупредили нас.

Три дня осады представляются мне сплошным временем, отрезком, вынутым из общего счета дней и приподнятым высоко над головой. Я изложил главнейшие события измены и обороны. Теперь я стараюсь припомнить быт обороны. Позже, когда все кончилось, я имел случай наблюдать, как события начали превращаться в легенду. Их участники рассказывали о них новопривлевающим людям. Особенно красочны были рассказы Насырбаева. И чем дальше, тем все красочнее. Ясно, что в corteже событий, идущих одно за другим, всег-

да бывают простые, пустые, ничем не замечательные промежутки времени. Этот пассив обычно всегда во много раз превосходит актив (в смысле заполнения времени). В последующих рассказах он исчезает, остается один актив. События прижимаются одно к другому тесно, образуя как бы водопад. Разумеется, отдельные факты при этом часто перераспределяются, перепутываются. Факты романтизируются, и происходит это, должно быть, помимо воли, — может быть, даже спрашивающий толкает к этому рассказчика приподнятым своим интересом к событиям. И рассказчик прямо вынужден сделать рассказ интригующим, романтическим. Начинаются преувеличения, искусственные заострения и без того достаточно острых положений.

Однако и без внушения рассказ все равно романтизируется. Я сейчас стараюсь внушить себе как раз обратное — и все равно я вынужден одергивать себя на каждом шагу. Я пробую сейчас освободиться от интерпретации событий, прилипшей к ним в последующих рассказах. Быт обороны в них тоже романтизируется, и кроме того быт обобщается. Мелкий бытовой факт, случившийся за три дня один раз, становится общим фактом, показателем для быта на всем его протяжении. Обобщение — один из видов преувеличения. Так, уже через несколько дней после событий обобщенно рассказывалось, что оборона пила воду из грязной лужи, в которой валялась дохлая собака, рассказывалось о начавшемся голоде. Угроза голода несомненно была. Разумеется, при наших продуктовых запасах мы не могли бы долго выдерживать осаду. Но за три дня эта угроза еще не успела реализоваться, и разговоры о голоде преждевременны. Другое дело, если мы вообще не слишком много ели, не до того было. Но даже и в этом я не уверен.

Дни стояли, кажется, довольно сухие, может быть, не всегда солнечные, может быть, даже редко показывалось солнце. Может быть, раз или два выпал мелкий дождь, снегу не было в эти дни. Между стенами домов были пролеты, в пролеты летали пули и жужжали над головами, а иногда и букваль-

но под носом. Иногда, наоборот, — пули шлепались в железную крышу; позднее говорилось, что это кое-кто из сочувствующих нам в противном лагере крыл по крышам, например, русские пулеметчики, которых Али Риза, вероятно, заставлял стрелять по нас. Стены домов, обращенные внутрь двора, не были «изрешечены» пулями, но все же кое-где следы пуль были. На крылечко в штаб нужно было подниматься ступенек на пять, так что верхняя часть тела могла стать мишенью неприятелю. На косяке двери я видел след пули на уровне фуражки, и даже, кажется, залетали пули в коридор, так что переходить внутренний двор и подниматься на крылечко было небезопасно. Однако никто не считался с этим, все ходили свободно, если было нужно или если хотелось пройти в другую часть двора. Просто даже немисливо было человеку согнуться под пулей на глазах у всех. Наши совещания происходили то в штабе, то в консульстве, то у командира второго батальона, где поселился и Гриневич; мы переходили то туда, то сюда гурьбой. И никто не был убит внутри двора, никто и ранен не был, и в коридор пули если залетали, так почему-то лишь тогда, когда никого там не было.

Сейчас осада кончилась.

В ночь на 13 декабря или под утро уже мы были разбужены появлением в нашем лагере не кого иного, как всех наших пленников. Я не помню ни консула, ни его жены (я спал в штабе). Я помню Морозенку. Он очень быстро ходил по комнате, очень нервно, очень срывающимся голосом рассказывал целой куче набившихся в комнату людей о том, что пережили пленные в крепости. Их там придавливали угрозами, лживой информацией, окриками, страхами. Морозенко хватался за голову. Под наганами их заставили подписать заранее приготовленный договор о разоружении русских частей и передаче обороны города бухарским частям. Три дня они сидели в крепости под угрозой смерти каждую минуту, если не от Али Ризы, то от басмачей, появившихся в крепости. Почему их сейчас выпустили? Их не выпустили, их бросили! Этой ночью,

вот только сейчас Усман-Ходжаев и Али Риза со всеми войсками оставили крепость и ушли неизвестно куда. Видимо, они не поладили с басмачами. Кажется, и вылазка нашей роты в городе сыграла некоторую устрашающую роль. Может быть, они ушли на соединение с Энвером-пашой, который будто бы появился на территории Бухары с хорошо вооруженными солдатами. Сейчас их нет, город совершенно пуст, пленники ни души не встретили по дороге из крепости.

Так повествовал Морозенко. Очень трудно восстановить в памяти подробности того, что происходило в крепости начиная с ночи на 10-е число, хотя об этом в свое время достаточно рассказывалось. Сейчас обрывки тогдашних рассказов путаются, я не решаюсь с уверенностью утверждать ничего. А следовательно, и трудно оценить должным образом события. Поэтому я вовсе не стану передавать ни рассказов тогдашних, ни нашей тогдашней оценки их.

Не припомню точно — тогда или позднее, после ликвидации измены, в ответ на донесение наше и просьбу о подкреплении мы получили радиограмму из полпредства. Нас приветствовали, нас называли героями. Больше ничего. Мы были разочарованы. А что же подкрепление? Мы тогда не ощущали себя героями. Это пришло позднее. Мы не решились — и не интересовались даже — применить к себе эту кличку. Теперь я пробую применить ее к участникам событий. Трое, вероятно, все же достойны этого звания. Это — Насырбаев и Гринчевич. Насырбаев был душой обороны. Гринчевич проявил личный героизм. Третий — коллектив. Я горд, что был членом этого коллектива, не совсем бездейственным. Я публичную имена героев душамбинской обороны 1921 года.

IV

Город действительно был пуст. Он опустел еще больше, чем до приезда Усмана Ходжаева. Мы обехали город с Насырбаевым. След поспешности бегства оставался всюду: распахнутые двори, кинутые на произвол судьбы и разбросанные барахло, даже запасы пшени-

цы в ямах. Город снова заняли наши части. Басмачи не показывались. Консул снова приступил к выполнению своих обязанностей. Мы ждали военной помощи, она была нам обещана; но пришла она не скоро. Покамест мы оставались сами по себе. Мы не знали, что происходит за стенами города, мы ждали новой атаки басмачей. Но басмачи сделали вот что.

Они пришли к нам с дружбой. Они прислали нам письмо в тот же день 13-го числа, не успели мы еще осмыслить уход Али Ризы. Письмо было от вожды локайцев Ибрагима-бека. Написанное по-узбекски, с переводом на русский тут же на обороте, оно начиналось так:

«Товарищи, мы вас благодарим за то, что вы хорошо сделали, что дрались с джахидами, на которых вы полагались, что они пойдут за большевиками, но вы ошиблись. Я, Ибрагим-бек и мир, хвалю вас за это и жму вашу руку как другу и товарищу».

Так писали нам искренные наши враги. Как будто они ни при чем! Как будто, пока шла драка в нашей семье, они сидели себе на горах и поглядывали на веселенький спектакль, разыгрывавшийся у их ног! Теперь их посланцы, трое или четверо, сидели в штабе с винтовками между колен и непринужденно повествовали о том, как это было им забавно. Они хлопали себя по коленкам, хохотали и перешучивались, разглядывали наше оружие, гранаты у пояса, ударяли нашего брата по плечу, фамильярничили, панибратствовали. Они пригнали нам стадо баранов и обещали еще. Они истолковали все по-своему. В том же письме писалось:

«Так как мы в старое время с Николаем были друзьями, так и в настоящее время останемся друзьями, против вас ничего не имеем. Мы будем бить джахидов, которые согнали нашу власть».

Главным своим врагом, оказывается, они считали вовсе не нас, русских, — против нас, оказывается, они ничего не имеют, они согласны попрежнему торговать с русскими. Главный враг — бу-

харское джадидское правительство, которое согнало власть эмира.

И действительно, как выяснилось несколько позднее, они ни за что не хотели мириться с джадидами, даже поднявшими оружие против «неверных». Усман Ходжаев и Али Риза вошли в переговоры с басмачами. Их намерение было заключить с ними союз против советской власти и возглавить басмаческое движение. Басмачи не поверили им. Они не соединились с ними. Они не согласились помогать им в борьбе против нас. То ли они выжидали, кто из нас окажется сильнее в драке, то ли в самом деле им нестерпимо было джадидское правительство. Басмачи побывали и в крепости, но Усман Ходжаев не успел склонить их на свою сторону, они расстались врагами, причем военное преимущество было на стороне басмачей. Усман Ходжаев не мог рассчитывать уже и на Энвера-пашу. Энвер действительно с сотней хорошо вооруженных всадников, под видом охоты, переправился из Афганистана через Пяндж в Бухару (он должен был хитрить, потому что дружественный РСФСР афганский эмир Аманулла-хан не сочувствовал планам Энвера и не позволял ему переходить границу). Получив известие об этом, Усман Ходжаев и поднял оружие против русского отряда. Однако и Энвера басмачи встретили враждебно. Было ли, нет ли между ними столкновение, но так или иначе Энвер был схвачен басмачами и в данный момент сидел в плену у Ибрагима-бека.

Однако и мы не могли очень-то обольщаться басмаческой дружбой. Стадо баранов было пригнано с определенным назначением. Первое же письмо свое Ибрагим продолжал так:

«... жму вашу руку как другу и товарищу и открываю вам дорогу на все четыре стороны и еще могу дать фуража для лошадей и людей, только убирайтесь с нашей территории».

Таким образом, смысл басмаческой дружбы сразу стал совершенно ясен. Покорность ждать от них не приходилось. Однако нам важно было покамест

поддерживать с басмачами это состояние «худого мира». Наши силы были невелики, были утомлены, мы должны были держаться до подкрепления. Во всяком случае, — получать от басмачей провиант по доброй воле было куда удобнее, чем добывать его вооруженными фуражировками. Мы поддерживали переписку. В переписке мы старались поддержать иллюзию дружбы. В ответ на первое их письмо начальник отряда Гринчевич послал разъяснение в том смысле, что уход или неуход русских войск зависит от распоряжения «нашей республики».

«Мы по телеграфу запрашивали наше правительство и очень возможно, что скоро мы уйдем из Дюшамбе».

Таким образом дружба держалась. Ожидая нашего скорого отъезда, басмачи ежедневно присылали нам продовольствие, — пшеницу, рис, скот. Ибрагим-бек стал нашим как бы отделом снабжения (хоть и не всегда в аккурате исполнявшим наши заявки). Мало того, он неоднократно предупреждал нас о поведении отряда Али Ризы:

«Доношу до вашего сведения, что джадиды будут наступать на вас и на меня, то я свои войска перекину против них в кишлак Кончи, и будьте вы на осторожности».

В другом письме:

«Доношу до вашего сведения, что джадиды, Али Риза, Данияр и другие, сегодня ночью проехали вниз кишлака Чор-хана, так как у меня есть сведения, что они хотят переправиться в Афганистан».

Они просили начальника русского отряда послать письмо начальнику Кабдианского отряда, чтобы и он вступил с ними в дружбу и не препятствовал их войскам ловить джадидов. Они вернули нам русских пленников, увезенных из Дюшамбе джадидами.

Кроме того, просили дать оружие, — хоть несколько винтовок, хоть немного наганных или маузеровских патронов. Сообщая о своих победах над джадидами, они не упускали случая добавить

просьбу подарить во имя победы оружие.

«Товарищи, вы от'езжаете, мы с вами подружим и остаемся здесь, то, чтоб не терять дружбы, просим вас оставить несколько винтовок и тысяч десять патронов (10 000). За это я вам заплачу: хоть деньгами или скотиною, чем вы желаете».

Вместе с перепиской шли и разговоры через парламентаров. Так 15-го числа сошлись для разговоров восемь человек с той и другой стороны. Басмачи требовали оставить Дюшамбе в трехдневный срок, обещая дать двести вьючных лошадей под наш транспорт. С нашей стороны ответа определенного не было, и затем снова пошла переписка в том же полудружеском тоне.

20-го числа прибыло наконец подкрепление — батальоны 7-го и 8-го полков под командой, кажется, Гайворонского. Восприняв тот же тон, он писал 21 декабря басмачам:

«Как только мои уставшие солдаты отдохнут от перехода, я вам сообщу дополнительно о дне нашего выезда из Дюшамбе, и тогда вы предоставите нам лошадей...»

...Не отказываюсь от обещания моих подчиненных дать вам несколько винтовок, но сделаю это тогда, когда произведу учет своему оружию, и выдам винтовки, если они окажутся у меня лишними».

Еще довольно долго мы могли пользоваться расположением Ибрагима-бека и жили мы у него, как у христа за пазухой. Даже задумали издавать стенгазету. Город снова был полон войск, отряд вырос до тысячи человек. В консульстве появились новые люди, приехавшие с отрядом. Во-первых, — Маметхан Сантасын, назначенный дикпурьером. Маметхан был замечательной личностью. Он был индус из Пенджаба. Очень высокий ростом, смуглый, крепкий. Он уже бывал здесь вместе с Дуровым и Насырбаевым во времена агент-консульства. А еще раньше он был пер-

вым и единственным делегатом от Индии на Первом конгрессе трудящихся Востока в Баку в 1919 г. Отец его был из пенджабских мусульман, крестьянин. Сам Маметхан был даже по-индустани малограмотным (не помню, на каком наречии он говорил). Он тогда читал по складам свой букварь. В нем очень ярко сказывалось чувство товарищества, и товарищество его было всегда очень шумным, экспансивным, гиперболизированным в выражении. Он страстно любил оружие. О Мамет! Как я могу с тобой еще раз свидеться? Помнишь, мы поссорились как-то однажды, когда ты лез в кухню, пока я там мылся? Я во-век не забуду, как восхитительно ты произносил мою фамилию — не на «ю», а на «джю»... Будь здоров, Мамет! Может быть, ты уже на родине? О, да здравствует революция в Индии!

Другой примечательный человек был Хрущев, комендант консульства. Он был из терских казаков, коротенький человек, и он уже давно жил в Туркестане, так что усвоил даже некоторые туземные привычки. Он не курил, но принимал «нас» (или «нос»). Это — интенсивно зеленый, всегда сыроватый порошок, который кладется под язык и там дразнит слизистую кожу. Человек с таким языком, когда говорит — гнусавит, шипит и сюсюкает, — сразу можно узнать, что во рту «нас». Я дивился на русского коменданта с «насом», потом привык, — он мне понравился таким. Сам же «нас» не понравился. Я попробовал однажды взять его. Тяжело закружилась голова, затопшило, я повалился на скамью, покрытую трофейным ковром и служившую мне постелью, и больше не пробовал.

Усман Ходжаев бежал со своим отрядом в Афганистан. Правительство БНСР объявило его вне закона. Переписку с басмачами вначале вел начальник отряда. 23 декабря написал большое письмо Ибрагиму-беку консул Нагорнов. Письмо имело сугубо политический смысл. В нем консул говорил об отношении русского государства к бухарскому народу и мусульманам России в дореволюционное время и теперь. Предлагал жить мирно. В осторожных выра-

жениях призывал Ибрагима-бека примириться и с центральным бухарским правительством, намекая, что в этом случае и сам Ибрагим-бек не будет обижен бухарским правительством.

Я предложил консулу свезти письмо и передать его Ибрагиму-беку в собственные руки. Это был хороший случай поглядеть на виднейшего басмаческого главаря, приобретавшего все больше и больше влияния среди басмаческих вождей. До сих пор он сам присылал своих послов в наш лагерь. Почему бы и с нашей стороны кому-нибудь не съездить в басмаческий лагерь? К нашему другу, миру и мулле Ибрагиму, караул-лиги и беку! Бисмиллахи ррахмани ррахими! Во имя бога милостивого и милосердного! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Велик аллах! Велик аллах! Еду к Ибрагиму-беку!

Я разыскал своего коня — вечно мне его приходилось разыскивать по всему двору, когда нужно было куда-нибудь ехать. Конь очень любил общество красноармейских лошадей, а я не очень его стеснял. Это был конь басмаческий, захваченный уж давно. Был он грязносерый и невидный, но бегал исправно, во всяком случае лучше Насырбаева коня! Вся его спина была избита седлом, я пробовал лечить его, но не умел; кроме того, под седлом болячки его не были видны. Я казнию себя сейчас за небрежное отношение к лошадям, — все же я любил своего коня.

Я заматывал свои ноги в обмотки и натягивал коротенькую свою красноармейскую шинель из сукна эпохи гражданской войны, полученную еще в 1919 г. в пуре. Консул напутствовал меня наставлениями, что и как говорить Ибрагиму, что обещать и от чего воздержаться. Насырбаев поддуживал, подшучивал. Я был угрюм и самоуглаблен. Я сел на коня и выехал уже к вечеру.

Ближайший кишлак, куда мы не раз ездили за саманом, был по обыкновению пуст. Дорога шла краем. До кишлака Кок-таш, резиденции Ибрагима, было километров двадцать. Письмо консула в большом конверте сидело в боковом кармане шинели. Я не очень спешил, выглядывая следующий кишлак, откуда

шел шум населенного места и было заметно движение и слышался лай собак. Я спустился в кишлак и выбирал дорогу по арыкам, окружавшим его, густым, сухим. Вынырнули басмаческие собаки, подняли буйный лай. Выехал откуда-то всадник в чалме забытого цвета и в халате дехканского вида и сказал: «Товарищ!» Я спросил аксакала, он сделал мне знак рукой, прикрикнул на собак, и я последовал за ним. Он повел меня в глубь кишлака. Уже темнело. Откуда-то из низкого, но укрепленного на насыпи над арыком длинного глиняного помещения шел свет и негромкие голоса. Всадник показал мне: «Аксакал!» Сам аксакал высунул в дверь лысую голову, увенчанную плоской, тонкой страшно пропотелой, должно быть, тюбетейкой. На беспомощном «учебном» своем узбекском языке я объяснил, что у меня письмо из Дюшамбе от консула к Ибрагиму караул-лиги и что мне нужен к нему проводник. Люди посоветовались, не выходя из своего закутка, и позвали меня погреться, выпить чаю. Я отказался и ворчливо потребовал показать мне дорогу. Аксакал отдал какое-то длинное распоряжение тому дехканину, которого я увидел первым, и сказал мне не то словами, не то жестами:

— Товарищ, вот за ним поезжай!

Тот человек тронулся и поехал, оглядываясь. Я — за ним. Мы выехали из кишлака, собачий лай замолк, наступала ночь, но все-таки что-то еще светило нам — не то луна, не то край неба на западе. Мы спустились вниз, впереди шумела река, не то Дюшамбинка, не то Кафиритан-Дарья. Начались камыши. Мы вступили в реку. Мы прошли в брод один рукав реки, потом другой, третий. Снова ехали низиной, камышами, заброшенными полями — и снова вступили в реку. Уже мне начинало надо-есть поднимать ноги над реками. И

опять, и опять мы переезжали еще и еще реку! Я не помню, сколько рек мы переезжали, бесконечное число рек! Должно быть, мы переезжали все одну и ту же реку, и самое большее две; должно быть, проводник нарочно возил меня до полуночи по низине, в камышах, чтобы запутать меня, не дать запомнить дорогу к резиденции вождя.

Наконец мы выехали из низины по-выше и подехали к какому-то длинному сараю, вокруг которого длиннissimi тени лошадей. Проводник предложил мне слезть, войти внутрь, отогреться. Я мерз, мои ноги были уже мокры. Я слез с коня и вошел. Подле стенок длинного, узкого сарая сидели, на корточках или поджав под себя ноги, люди, вооруженные, — должно быть Ибрагимово войско. Между двумя рядами их третьим рядом шел огонь, на огне кипели чайники, — войско пило чай. Сейчас мне представляется, что костер шел непрерывным рядом и во всю длину сарая и все люди до одного сидели и держали в руках пиалы с горячим чаем. Может быть, это было не так, но я до последней степени промерз, я хотел огня и чая. Меня посадили, я сел поближе к костру, я пил чай. Потом я закурил. Мне предложили здесь ночевать, к Ибрагиму отправить-ся утром.

— Нет!

Я поднялся, проводник поднялся. Мы вышли и поехали дальше.

И снова мы сотни раз переходили одну и ту же реку. Снова члены закончили, холодное стремя совершенно обледенело пальцы ног, тело уже перестало дрожать, оно стало.

Наконец приехали. Я, собственно, не запомнил кишлака, называемого Кокташ. Я заметил огороженное стеной квадратное пространство и ворота, У ворот была стража. Нас пропустили во двор. Прямо через двор мы проехали к противоположной стене. Тут, в стене, жил Ибрагим-бек, и меня ввели прямо к нему.

Я вошел в маленькую комнату, должно быть, полутемную или совсем темную сначала. Дали какой-то свет — не то свечу дали, не то сразу стали разводить огонь в ямке посредине комнаты.

Я разглядел комнату. Не помню, чем были покрыты стены. В правом углу стояла железная кровать, украшенная беленькими блестящими шариками — такая, какую можно встретить в любой добропорядочной мещанской квартире. Прутья были черные, покрытые лаком, шарики серебряные (так мне припоминается). На этой кровати спал Ибрагим-бек, караул-биги. Он спал в белье под одеялом. Какое было у него одеяло? Не все ли равно, каким одеялом покрывался Ибрагим? Байковым или туземным — ватным, шелковым? Не все ли равно? Мемуаристы напрасно занимаются такого рода пустяками. Это относится к области этнографии. Приблизженные Ибрагима (старейшины ли его или телохранители), большей частью люди почтенного возраста, спали тут же. Они спали, не раздеваясь, вооруженные — на полу, на коврах, на одеялах и под одеялами ватными, местной выделки. Ибрагим поднялся, сел на кровать, сунул ноги в туфли (опять не помню — может, в сапоги). Мужички его свиты также вскочили, закатали к стенке свои одеяла и уселись, поджав ноги на ковре. Ибрагим надел халат и сел возле кровати, как раз к огню. Он был высок ростом, черен, борода обкладывала его подбородок плотно, лопаткой. Я был рад огню.

Я уже давно сижу у огня, я готов сесть в огонь, грею руки и гляжу, как одевается Ибрагим. Белое белье сверкает. Синее халат. Зубы мои, должно быть, стучат, или не попадает зуб на зуб. Я едва отвечаю на вопросы.

— Давай тильмач, — говорю я и считаю себя в праве не отвечать на вопросы, пока не явится переводчик.

Мне дают чай, я пью чай жадно.

Приходят переводчики. Это — русские пленные, уже несколько месяцев живущие у басмачей. Может быть, несколько лет. Кажется, рассказывалось так.

Еще в годы империалистической войны, где-то в горах Дарваза проходил русский отряд в семьдесят человек. Шел ущельем, был виден с любой сопки. На какой-то сопке засел отряд басмачей. Он перестрелял русских солдат. Только трое остались живы. Они оказались пулеметчиками, и пулеметчиков оставили.

У басмачей нет еще пулеметов, но они надеются добыть и потому оставляют пулеметчиков про запас.

Так рассказывалось, кажется. Вот эти пленные (или один из них) пришли и стали переводить.

Я не помню, о чем говорили. Должно быть, о войне и мире, о дружбе, о Николае и советской власти, об оружии и продовольствии. Я передал письмо консула. Изложил его содержание. Я пил чай. Чай меня интересовал покамест больше.

Потом перешли в левый угол комнаты, что ближе к двери, что не был занят постелями. Тут сидели на стульях. Ибрагим сидел справа от меня, переводчик — слева (тот сидел на корточках). Перенесли туда огонь или нет? Мне запомнился переводчик, который вынимает горящий сучок из огня и прикуривает. Мы все курили. Разговор этот помню.

— В Дюшамбе много войска? — спрашивает Ибрагим.

— Много.

— А бабы есть?

— Одна есть, консула жена.

— А ты кто?

— У консула информатор, вроде секретаря.

— Мирза, — переводит русский парень.

— А откуда ты?

— Из Москвы.

— А ты кто в Москве?

— Студент.

— Катта-мирза! — дает переводчик.

— Хочешь, иди ко мне на службу.

— Как позволит консул.

— Переходи! Мирза будешь!

— Консул отпустит, приду. Напиши письмо консулу.

— А в Москве баб много?

— Ой, много!

Тут начинается довольно нелепый разговор. Ибрагим накурился анаши, опьянел. Он раскачивается на стуле. Он схватывает с меня шапку.

— Хочу спать, — говорю я.

Ибрагим продолжает приставать насчет московских баб.

— Спать, спать хочу! — говорю я.

Азия. Пьяный басмаческий вождь качается на стуле справа от меня. Русский

пленный в бухарском халате вытягивает из огня красный с конца сучок и прикуривает. Против нас, вокруг нас, над нами — дружина Ибрагима-бека, стоит, молчит, не смея вставить слово в разговор, и под ладонями скалится. Над головами дым. Склабится во весь рот Ибрагим-бек и хохочет. О, азиат! О, дикарь!

— Давай спать! — говорю я.

Тогда меня ведут спать. Я сплю в караульном помещении, где спят и ибрагимовские солдаты вместе с русскими пленными. Я валюсь прямо на пол, на ковер между ними. Они что-то говорят еще, они рады новому русскому человеку. Должно быть, они рассказывают о себе, о горемычной судьбе своей. Но они также и шутят. Все равно, я засыпаю, как убитый.

Утром, при солнечном свете я смог рассмотреть внутренность двора, куда я попал. Это был обыкновенный туземный двор, только большой. По задней стене, где ворота, шли под навесом конюшни. По всем остальным стенам — жилые комнаты. Та сторона, где я ночевал, была, видимо, отведена для почетных и важнейших людей Ибрагимовой свиты и для личной его охраны. По всему двору разгуливали вооруженные и невооруженные люди. Некоторые из ибрагимовских солдат были одеты в форму бухарской милиции, довольно поношенную.

Меня провели пить чай в комнату Ибрагима. Во всю ее длину был разостлан достархан (этого слова я не слышал в то время, оно взято из старых описаний Бухары и означает — скатерть с угощениями). Мне дали чаю с конфетами и, вероятно, с кишмишом и лепешками. Вдоль достархана сидели на полу, поджав ноги ближние люди Ибрагима и тоже пили чай. Сам Ибрагим-бек — в конце достархана. Царило молчание, утреннее молчание людей, еще не отрезвившихся от сна, еще не воспринявших всерьез наступающий день. К Ибрагиму подходили какие-то служащие люди, и шопотом о чем-то они переговаривались. Один из них выдвинул из-под кровати сундук и раскрыл его. Ибрагим стал вынимать из сундука пес-

трые халаты один за другим, расплывал их у себя на коленях, разглядывал со всех сторон, шуршал шелком, как бы демонстрируя свое богатство. Затем он откладывал халаты в сторону, и служка снова убирал их в сундук. Некоторые халаты, после тщательного выбора, Ибрагим натягивал на себя, один из другой. Так натянул их, должно быть, штук до пяти и тогда вернулся к чаю.

Затем служка принес ему какие-то шкатулки. В шкатулках были деньги. Я не помню, было ли золото или серебро, но очень много было бумажных денег, выпущенных Бухреспубликой — этих кредиток из шершавой бумаги, очень больших, сплошь усеянных мелкими красными и синими арабскими письментами. Ибрагим выкладывал их на ковер, медленно пересчитывал и снова прятал в шкатулки. Ибрагим хвастался. Да, я мог рассказать в Дюшамбе, что Ибрагим богат! Что у него много наших денег и прекрасные у него свои шелковые халаты!

Чаепитие кончилось. Мне сообщили, что сейчас здесь соберутся все старейшины и обсудят письмо консула и напишут ответ. Меня снова провели в комнату охраны, где я ночевал. Совет старейшин длился до полудня.

Я ждал ответа, сидя на ковре или на ступеньке у выхода во двор. Однажды я вышел через маленькую дверь в другую сторону, совсем наружу, — внешняя стена укреплялась на небольшом скате к арку, поросшему кустами. Я разговаривал с пленными русскими. Жизнь в плену была хоть и не голодна и неунизительна, но очень скучна. Они просили выручить их из плена. Они жадно расспрашивали о том, что творится в России и в Дюшамбе. Мы курили. По двору рассказывали или просто сидели в разных местах люди. Вышли на двор и другие пленные, те, что были захвачены Ибрагимом из отряда Али Ризы. Среди них я увидел бывшего вакиль-мухтара Сурию-бека. Он с печалью говорил о случившемся. Сам он не причастен к аванюре Усмана Ходжаева. Усман с самого начала отнесся к нему враждебно. Мне показалось, что Сурию-беку можно

верить. Должно быть, недаром он попал в плен к басмачам в числе первых.

Здесь же, через стенку находился в плену и Энвер-паша. Я увидел его мельком. Он был здесь в почетном плену. После полудня совет старейшин даже вызвал его к себе на совещание. Я сидел в комнате на полу. На галлерейке вдруг началось какое-то движение. Мне сказали — сейчас пройдет Энвер-паша. Он прошел очень быстро. Я успел увидеть его только на мгновение через дверь. Он мне показался росту среднего, склад лица правильный, цвет кожи сравнительно светлый, как у загорелого розоватым загаром европейца. Небольшая темная борода. Халат свисал со спины совершенно прямыми, во всю длину, большими складами. Обратного прохода Энвера я не заметил.

Двор начал страшно переполняться народом. Через полчаса примерно после того как позвали Энвера, совещание старейшин кончилось. Меня снова привели в комнату Ибрагима. Она была полна почтенными людьми. Не то сидели эти люди на ковре, не то стояли, но в комнате чувствовалась необычайная торжественность. Ибрагим сидел на стуле. Он вручил мне ответное письмо консулу. Что-то он просил передать еще на словах. Он надеется на мир между нами, на мирный наш исход из Дюшамбе. Я также надеюсь на мир. Я немножко теряюсь в этот торжественный момент. Сзади на меня накидывают мягкий, шелковый халат синего цвета. Это — подарок в знак дружбы. Мне помогают надеть его в рукава. Мы прощаемся, я выхожу во двор, напутствуемый Ибрагимовой свитой. Двор доотказа наполнен толпой дехкан. Толпа шумит, она невраждебна. Мне подводят коня и усаживают в седло. Мне дают проводника, и медленно мы с ним проезжаем сквозь толпу и выезжаем из ворот. И там народ! Мы едем, толпа остается за нами. Мы покидаем Кок-таш.

Так на всех парах шли к дружбе басмачи и дюшамбинский гарнизон — с парадом, с подарками.

Этот парад продолжался еще некоторое время. На другой день к Ибрагиму ездили еще Насырбаев с двумя со-

проводящими, а на третий день сам консул с Насырбаевым и Хрущевым. Однако уже в самом параде обнаружилась неустойчивость дружбы, неуступчивость обеих сторон.

Ибрагим в ответном письме звал к себе консула в Кок-таш для личных переговоров. Консул сначала послал Насырбаева, который повез с собой проект мирного договора, с басмачами, предусматривавший подчинение их центральному бухарскому правительству и, кажется, некоторую автономию во внутренних делах этого района. Проект договора встретил решительное сопротивление в свите Ибрагима-бека, особенно со стороны старого Каюм-Токсаби. В качестве центральной бухарской власти они согласны признать только эмира. Что касается второго пункта, то «самоуправление подчиненной нам области и восстановление мирного порядка мы оставляем за собой, без внешней помощи с чьей бы то ни было стороны». Вместе с тем — «наше самое большое пожелание: как можно скорее завязать торговые сношения с Россией». Однако даже и это все при неперемennom условии: «Просим вас, русское правительство, оттянуть ваши войска в самом срочном порядке, оставив нам четырех представителей для дальнейших переговоров».

Так отвечали старейшины. Сам Ибрагим-бек так отвечал тоже. Однако он более, чем кто-либо, казался способным пойти на уступки. Насырбаеву, хорошо владевшему местными языками, удалось поговорить с ним наедине. Насырбаев польстил Ибрагиму-беку. Он говорил ему, что люди, уважаемые народом и знающие народ, такие, как сам Ибрагим, караул-биги, нужен и теперешнему бухарскому правительству, которое в случае мира готово призвать таких людей, как Ибрагим, к управлению всей страной. И казалось, что Ибрагима прельщали перспективы посидеть в центральном бухарском правительстве и поуправлять всей Бухарой. Только он запрашивал чересчур много — чин председателя бухревкома! Так что в этом пункте тоже не сошлись.

При свидании с консулом вопрос об уходе русских войск из Дюшамбе был поставлен уже совершенно категорически. Пункты договора, прочтенные теперь внимательнее, только еще больше раздражали мулл. От консула потребовали прямого обязательства, — вывести войска в трехдневный срок, — без этого не отпускали от себя. Пришлось подписать бумажку, но с тем смыслом, что консулом через три дня будет дан окончательный ответ о выводе или невыводе войск из Дюшамбе.

28 декабря, когда истек трехдневный срок, консул писал Ибрагиму-беку:

«Войска я не выведу из Дюшамбе до тех пор, пока вы не подпишите условий договора, который был у вас, и пока не прекратите войны между собою. Если вы любите свой народ, то уговорите его и своих старейшин подписать договор».

На другой день Ибрагим-бек отвечал:

«Письмо ваше получили от 28 декабря с. г. и остались очень довольны тем, что сначала обещали выехать из Дюшамбе 28 декабря в 4 часа вечера, но потом изменили свое обещание. Такой подход для меня не выгоден. Я не могу убедить население ввиду того, что вы не выезжаете из Дюшамбе. Предлагаем вам немедленно выехать из Дюшамбинского района, тогда мы подпишем договор».

Так обострились наши отношения. Однако 31 декабря Ибрагим снова писал:

«На отношение от 30 декабря вы пишете, чтобы мы подписали ваш договор. То мы решили, прежде чем подписать, обсудить этот договор с другими старейшинами, как Дарваз, Каратегин и пр. Тогда мы вам дадим настоящий ответ».

Мы стали ждать «настоящего ответа», продолжая покамест незначительную переписку по поводу продовольствия. Консул написал письмо Энверу-паше и ждал ответа. Стали поступать сведения

о том, что Ибрагим-бек собирает население для новой войны.

6 января 1922 г. басмачи открыли военные действия, попытавшись захватить небольшой наш отряд, выехавший на фуражировку.

V

«Худой мир» с басмачами длился почти месяц. За это время опять успел сложиться особый бытовой уклад Дюшамбе, отличный от предыдущего, усман-ходжаевского и всех других дюшамбинских укладов. Это были как бы каникулы. Мы были на время опущены на свободу от войны, от вооруженных фуражировок, от внутренних дюшамбинских трений, так раздражавших нас во время Усмана Ходжаева. Все дела между военным командованием и консулом решались очень быстро и согласно. Основная масса продуктов питания поставлялась басмачами, и только дополнительно приходилось выезжать на мирную фуражировку в пустыющие кишлаки, чему и басмачи не препятствовали. Переписка с басмачами и поездки их к нам, а наши к ним были для обеих сторон, особенно вначале, даже довольно веселы. Город Дюшамбе после ухода Усмана Ходжаева хоть и остался опять полупустым, но движение в нем оживилось, люди свободно разъезжали и расхаживали по городу, заглядывали в покинутые жилища, меняли свои квартиры, варили, где хотели, пищу. Можно было свободно выезжать из города недалеко, спускаться к Дюшамбинке, которая прежде вечно была под угрозой обстрела. А поездка за саманом в ближний кишлак, помню, была истинным удовольствием: в россыпях самана можно было куврыться, как в куче сена. Когда же прибыло подкрепление и плотно заселило весь город, стало даже шумно.

Ссорой с басмачами этот рай оборвался, — впрочем, не так уже круто. Ссора предчувствовалась за несколько дней, и война не сразу началась как следует. Тем не менее наступил опять довольно томительный период ожидания. Мы ждали распоряжений сверху, что делать нам с басмачами и с самими собой. Военной силы было больше чем

достаточно для обороны, но маловато для наступления. А для прокормления в опустошенном городе — чересчур много. Начались ежедневные фуражировки, сопровождавшиеся боем, жертвами. А распоряжений все не было.

Пришло известие, что из Бухары в Дюшамбе едет для расследования измены Усмана Ходжаева паритетная комиссия из трех представителей от Бухарского правительства и одного от полномочного представительства РСФСР. Вторым от РСФСР должен был быть консул Нагорнов и третьим — Гринчевич. Председатель бухарской части комиссии вместе с тем ехал в качестве нового вахиль-мухтара — центрального правительства в Восточной Бухаре.

Числа 11 января, не помню по какой надобности, я выехал из Дюшамбе в отрядом, отправлявшимся в Байсун. В Юрчах отряд делал привал, и здесь я встретил паритетную комиссию. Я был рад знакомству прежде всего с представителем русской части комиссии, с Коганом. Он был анархист, он мог сообщить кое-что об анархистах в России. «Многие из них уже оставляют позиции анархизма и даже вступают в компартию», — сообщил он. Так, так, так, подумаем об этом на досуге! Я рассказал Когану о том, что было у нас в Дюшамбе, и Коган записал это. Мы переночевали в Юрчах, и я вернулся с комиссией в Дюшамбе.

Крепость была разорена, город был опустошен Усман Ходжаевым и Али Ризой, забравшими с собой весь скраб, какой могли взять. Бухарская часть просила разрешения временно поселиться в консульстве, она обещала не стеснять консульство. В консульстве было всего две комнаты, кухня и два чулана, светлый и темный. Бухарской части комиссии, по ее просьбе, освободили и почтили светлый чулан в качестве, так сказать, кабинета для их совещаний и для каких угодно их целей. Спали же они в той комнате, где мы с Насырбаевым, на полу. И вот мы зажили общей жизнью.

Фамилия председателя комиссии, вахиль-мухтара я не помню. Говорилось, что в Бухаре был он назиром финансов. Он был роста небольшого, в манерах

очень тих и сдержан, но в делах достаточно настойчив. Его секретаря и переводчика фамилия была, если не ошибусь, Ибрагимов. Это человек молодой, казак или киргиз, кажется, студент. Третьим членом комиссии был Касымов.

Начались заседания по вечерам. Гриневич пришел только один или два раза, боевому командиру не нравился дух дипломатии, царивший в комиссии. Его место занял новый военком Каплан, человек, вполне отвечавший своему назначению в качестве военкома и в качестве члена паритетной комиссии. Протоколы комиссии сначала вел Насырбаев, а потом я. В комнате консула за двумя сдвинутыми под углом столами, при свете керосиновой лампы заседала паритетная комиссия. Было много жарких споров, требовалась большая точность формулировок в протоколе. Это требование мне и было предъявлено, когда пригласили меня в комиссию. Мне что! Писать я могу очень быстро, и я повел почти стенографически-точную запись. Я записывал не только смысл речи, я лепил в протокол и все реплики с мест. Все эмоционально-выразительное, быстренькие словечки, пускавшиеся со стороны, все междометия! Этого, разумеется, не требуется, но это было весело и мне и людям, и не было еще в моей жизни секретарства увлекательней этого!

Заседания длились долгий ряд вечеров. Днем мы были свободнее. Жизнь была у нас мирлоубивая. Мне вздумалось заняться персидским языком. Преподавать его взялся председатель бухарской части комиссии. Мы уединялись в их бухарском узеньком кабинете, садились на пол, подогнув ноги, рядом. Учитель писал на клочке бумажки персидские фразы житейского обихода, и я повторял за ним: «Ман дар Бухара дарид яхайр»,— вот в таком роде. Прекрасные уроки были!

«Труды и дни» паритетной комиссии были наиболее приметным пятном на всем этом периоде, длившемся месяца полтора. Но господствующим настроением было все же чувство утомленного ожидания своей судьбы извне, сверху.

И все мои воспоминания этого времени тянутся к одному — к исходу нашему из Дюшамбе. В какое-то из последних чисел февраля был получен от реввоенсовета Туркфронта приказ о выводе всех войск из Дюшамбе.

К тому времени положение басмачества изменилось. Басмачество, как военная сила, выросло. Снова объединились расползшиеся было за зиму узбекские и таджикские племена. Главное же, они сейчас усиленно организовывались в приличную военную силу. Это было делом рук Энвера-паши. Он был ведь все-таки деятелем больших масштабов. Из почетного Ибрагимова пленника он превратился в главнокомандующего объединенной басмаческой армией. Они примирил извечно враждовавшие между собой восточно-бухарские племена если не под знаменем панисламизма, то под лозунгом священной войны против неверных. Он занялся обучением басмаческих воинств европейскому строю и работе с пулеметом. В его распоряжении, кроме темной дехканской массы, были уже и некоторым образом нухавшие порох солдаты,— и те, что он привел с собой из Афганистана, и те, что отстали от Али Ризы, и, очевидно, какие-то новые силы из-за кордона. Пулеметов было, правда, у него очень немного, — то, что отобрано было Ибрагимом у Али Ризы,— но винтовки, верно, к нему прибывали, и еще английские винтовки, хорошо изучившие дорогу через Гиндукуш.

Правда, дюшамбинский гарнизон вполне еще мог обороняться и от Энвера неопределенное время. Басмаческие атаки хоть и становились ожесточенными, но пулеметы стреляли еще очень робко и на приличной дистанции, больше как бы для острастки, чем для дела, так что непосредственной необходимости отступления, очевидно, еще не было. Тем не менее оно было предпринято целесообразно. Гарнизон был утомлен, питание было скверное и доставалось с боями. Ликвидировать басмачество он был бы не в силах. И не было смысла с жертвами удерживать столь незначительный в сущности пункт, как Дюшамбе, искусственно сделанный столицей

Восточной Бухары и растрепанный осадой и изменой. В какой-то из начальных дней марта все население Дюшамбе поднялось и покинуло этот город.

Внешне это было зрелище вполне грустное. Очень пасмурный, слезоточивый, слезоточивый был зимний дюшамбинский день, утро. Каким-то узловатым длинным канатом, стелившимся по земле, спускалось с Дюшамбинского плато наше отступление: воинские части, конные и пешие, и обозы — военные и гражданский, а также еврейский (евреи ничего не могли ждать хорошего от басмачей). Отступление медленно брело, скривля и цокая о камни колесами и копытами, через широкое русло реки, бурлившей всеми своими рукавами. На том берегу оно снова поднималось на плато и брело там.

Оглянемся на Дюшамбе. О, жалкий кишлачишко! Только глиняные стены покидаем мы, да пять флигелей кирпичной стройки, растворяющейся в сыром тумане, да кучи воспоминаний, о которых и не думалось, когда уходили мы от них (думалось о том, что впереди).

Дня три или четыре двигались мы так в тумане до Байсуна. Люди ехали верхом, на повозках, шли пешком. Изнурительный путь! Военком Каплан показывает всем пешим пример выдержки и выносливости. Он не взял коня. Подоткнув полы шинели, он шагает сквозь грязь и дождь и не хочет быть унылым. Ночуем в разоруженных кишлаках, сушимся, идем снова. Дело не обходится без мародерства. Вспоминается фигура начальника Гайворонского, приподнимающегося в седле, яростно потрясающего над головой наганом, выкрикивающего страшную брань над арьком, куда пытаются сползти уличный мародер.

На одном из привалов выпал относительно ясный вечер, кажется, в Денау. Красноармейцы разбредаются по кишлаку. Я захожу в один из дворов. Красноармейцы обнаружили глубокую яму и разобрали по рукам оттуда всяческую медную посуду, кумганчики, тарелочки, котелочки. Уже пользуют ее для варки чая, ужина. В другом дворе картина, напоминавшая на всю жизнь. Двор пуст, какое-то пыльное, тлеющее ватное

барахло валяется всюду. Посредине человеческий труп. Молодой узбек, нивест кем убитый, в лохмотьях каких-то лежит на спине, запрокинув назад голову. Одна рука закинута за голову. Грудь обнажена, отчетливо выступают ребра. Тело пепельно серое. Голова, шея, грудь совершенно скульптурны, как будто это гипс, только что вынутый из подземелья, где пролежал полтысячи лет. Совершенно спокойное лицо, закрытые глаза. Кажется, это «ложно-классика», то, что я говорю. Но я долго стоял над «ложно-классикой», огуленный ею.

Вступаем в область Байсуна гор. Здесь с гор впервые за все время отступления начинает трещать басмаческий пулемет. Но он далеко, дули не долетают. Поймали басмаческого шпиона, после допроса отвели в сторону и расстреляли; слабый треск выстрела.

В горах снег. Переваливаем.

Входим в Байсун.

Месяца через два двинулись в Восточную Бухару свежие войска. Скоро они снова заняли Дюшамбе. Пришло известие об убийстве в бою Энвера-паши. Басмачи при помощи местного трудового населения были вытеснены из Бухары. Они ушли за Пяндж, в Афганистан.

VI

1931 год.

То, что прежде называлось Восточной Бухарой, нынче называется Таджикистаном. Я снова еду в Дюшамбе, но нынче это — Сталинабад. Я еду, я смотрю и подмечаю разницу в сравнении с тем, что было девять-десять лет назад. Разница огромна. Например, — поезд. Он идет по расписанию и почти не опаздывает. Совершенно добропорядочный пассажирский поезд с классными вагонами, плацкартными местами и вагоном-рестораном. Кондукторской бригаде ныне не позволяют остановить поезд и выскочить из вагонов с ружьями, чтобы гонять лисниц по кустам в песках. Изволь везти людей, люди едут по делу. И, что самое удивительное, железнодорожный путь не теряется в песках, как местные реки, на полдороге между Каршами и Керка-

ми, как было в мое время. Нет надобности высаживаться из вагона возле разрушенной станции и идти дальше пешком либо подмазываться к красноармейской подводе. Нет! Лежи себе и лежи на верхней полке, кури легкий ташкентский табачок и слушай рассказы инженера Овцеводостроя о его подвигах в Яванской долине. Лежи, хочешь — спи, еще время есть. Нынче нет надобности даже в Керки заезжать: поезд на несколько минут только задержится на водопой на станции Самсоново, что по сю сторону Аму-Дарьи, против Керков, и тотчас же пойдет дальше. Да, да! По берегу той самой реки Аму-Дарьи, где прежде ты мог передвигаться только каким-то и тратить на двести километров несколько дней. Приедешь в Термез — и вот тут тебе самое удивительное: не надо в исполкоме требовать коня и проводника до Дюшамбе и скакать, сломя голову, четыре дня на деревянных бухарских седлах. Тем же поездом доедешь! С удобствами!

К Денау поезд подходит ранним утром, еще до солнца. Множество путей, новенькая станция. Тут раньше вовсе ничего не было, просто — ничего! На лево на площадке, возле путей идет сборка тракторов. Это, наверное, для совхоза «Хазар-баг», который должен быть тут же. Подальше — какая-то белая стройка. Спрашиваю у железнодорожников:

— Где совхоз «Хазар-баг»?

— Отсюда двенадцать километров, — машет человек рукой в горы, к Бай-суну.

— А эта белая стройка?

— А это — хлопковый завод.

Тут раньше ничего не было. Просто — ничего!

Где же, однако, самый Денау? Направо идут низкие домики вдоль дороги. Они закрывают от глаз какую-то зеленую вдали, какие-то глиняные пятна, похожие на дувала. Наверное, там и есть Денау. Тот самый разоренный киш-лак, тот самый.

Вот Бабатаг. Да это он — «лихорадящий больной под серым одеялом». Сейчас будем его огнать. Будут Юрчи, Рерар. Но скоро до такой степени все

«не узнаешь», что в досаде машешь рукой и смотришь все, как новое. Утешило только темное ущелье к северу, где засел Каратаг: ущелье узнал, проверил себя и спутника — оно. Узнаешь ли Дюшамбе?

Где тут!..

— Сталинабад, Сталинабад! — толпятся люди к окнам.

— Дайте! Мне важнее посмотреть!

Огромная площадь, вся совершенно изрытая какими-то выемками, насыпями, мостами, вышками, затянута проволокой. Вдали — группы белых домов в два, но больше в один этаж.

— Вот Сталинабад, — показывают на самую дальнюю группу построек.

— Но это новый город! А где же старый Дюшамбе?

— Наверно, то левее.

Левее действительно что-то напоминает старый Дюшамбе. Но, кажется, обрыв над Дюшамбинкой был гораздо круче и выше. А Дюшамбинки самой и вовсе не видать. А где «русские дома»? Ничего не найдешь! Снова в досаде опускаешь руки, отталкиваешься от окна и начинаешь на все смотреть безразлично.

Поезд остановился у каменной махины в лесах: это будущий вокзал. Все вокруг еще будущее, все строится. До города километра четыре. Проехать туда можно и на автобусе (передельном из грузовика). Сейчас кладем багаж на арбу, а сами идем пешком. Превосходное шоссе с молодыми насаждениями. По обе стороны, в некотором отдалении — кучки строек. Потом начинается улица. Это — Сталинабад.

Это Сталинабад. Он как раз там, где дюшамбинские пустыри переходили в голое поле. Где голым полем, беспорядочной толпой неслись на приступ басмачи. Где шли окопы, а теперь идут уличные арычки, чтобы дать прохладу городу, которого тогда не было. Кажется, я довольно верно устанавливаю, что главная улица идет как раз там, где был пустырь, обсаженный тополями, где был еврейский квартал. Очень трудно это установить! Вот я вижу полуразрушенные стены какого-то древнего общественного здания, вроде мечети,

окрашенного в розовую краску с белыми линиями, стоящего на главной улице, почему-то нетронутого, недорученного. Я вспоминаю: кажется, я должен был на излюбленный свой пустырь проходить как раз мимо этого здания, которое и тогда имело почти столь же разрушенный вид. Или оно выходило прямо на пустырь?

Главная улица заменила еврейский квартал европейским кварталом. Она очень широка. Дома стоят на почти-тельном расстоянии друг от друга. Дома одноэтажные, землятресения не позволяют строить выше. Белые дома с черными колоннами и белые дома с белыми колоннами. В городе сейчас около пятидесяти тысяч населения. Я бродил по Сталинабаду, я записал о нем:

«Сталинабад совершенно ошеломил меня. Я не узнавал решительно ни одного из мест, памятных по 1921—22 году. Я искал глазами единственную в то время группу небольших домов русской стройки — и не находил. И не нашел до тех пор, пока не наткнулся на нее возле самого «Хлоптреста», в новом доме, где я нашел пристанище. В старых домах и сейчас больничное заведение. К ним сделаны кое-какие пристройки. Дорога, вдоль которой мы встречали пулеметным огнем отряд Даньёра, отсутствует, застроена какими-то длинными постройками дворового типа. Кишлак вниз по Дюшамбинке, куда ездили за саманом и откуда обычно выбегали басмаческие разведчики, слился с городом. Старый Дюшамбе также существует на прежней своей территории, он сжался и стал как бы не в счет. Бухарская крепость над Дюшамбинкой разрушена, ее территория отведена под военный госпиталь, и здесь также новые дома. Город раскинулся широко.

На главной улице — Дом дехканина, единственное тут двухэтажное здание, и в нем кинематограф. Я сидел в кино, хорошо оборудованном, и едва мог верить тому, что я — в Дюшамбе. Но это не Дюшамбе, а Сталинабад. Он сам по себе интересен, и, может быть, в конце концов я перестану верить тому, что когда-то был Дюшамбе 1921—22 года. В вестибюле — толчея. Преобладают лю-

ди в русской или в русско-восточной одежде (на русскую основу — восточная деталь, или наоборот. Или, например, так: пестрый халат на черный костюм). Кучкой стоят в густой движущейся толпе, молчаливо и чуть изумленно глядя по сторонам, чисто таджикские дехканские фигуры с темными лицами, резко расчерченными.

Очень естественно и просто, что разоренная во время войны страна растет и строится на мирном положении, особенно в нашу эпоху. Очень просто это и обычно видеть за последние годы, пока вчуже смотришь вокруг. А вот когда сам ты видел страну в последней опустошенности и спустя десять лет теми же своими глазами видишь ту же самую страну многолюдной, бурлящей и строящейся, — вот тогда попробуй удержаться в равновесии и не расчувствоваться!

Однако нельзя думать, что строительство и сейчас вполне мирное и методичное. Строительство идет бурными и иногда беспорядочными темпами. Оно как бы на военном положении. С работников строительства спрос такой же строгий, как в военное время. И сейчас еще много всяческих препятствий, неувязок, безалаберщины, молниеносной инициативы! И обжигающей работы! В городе правительстве Таджикистана, много всяких учреждений республиканского масштаба, много магазинов, улицы вечно оживлены. Но город еще далеко не стабилизировался в своем столичном облике. Город, во-первых, еще растет. Нужно приехать сюда еще раз во вторую пятилетку, чтобы посмотреть город в стабилизации. Сейчас же это скорее некий узел-распределитель, через который люди большей частью только проходят, чтобы отсюда распространиться во все углы страны на многочисленные строительства республики. Люди, живущих здесь больше года, очень мало, почти нет. Через город проходят люди, мобилизованные по партийным и иным мобилизациям, добровольно приезжающие, практиканты всех специальностей, экспедиции, обследовательские комиссии. В городе есть авантюристский элемент, пого-

ня за длинным рублем, ажиотаж. Город хорошо снабжается. Мужчин в городе больше, чем женщин. Женщины здесь вольны и авантюристичны, мужчины ревнивы и придиричивы.

Разумеется, — все это накипь. Это лишь то, с чем некогда бороться, до чего еще не доходят руки. Можно пока не очень сетовать на это: придет время — накипь в бурлящем котле отойдет к стенкам и будет выкинута вон».

Последнее известие из Таджикистана получено уже в Москве:

«Ташкент (ТАСС). 22 июня частями

пограничной Красной армии при активной поддержке дехканских масс Таджикистана уничтожены остатки перешедших из-за кордона банд во главе с басмачем Ибрагим-беком.

«Захвачены ближайшие помощники Ибрагима-бека: Али Мардан Датх, Ишан Исахан и др. 23 июня были захвачены добровольным отрядом Мукума Салтанова и дехканами кишлака бежавший к границе Ибрагим-бек с двумя оставшимися при нем басмачами. Ибрагим-бек доставлен в Ташкент».

(«Правда», 5 июля 1931 г.)

Заметки и документы о советском Таджикистане

Б. Лапин и З. Хацревин

В течение ряда лет посещая Таджикскую республику, мы близко сталкивались с ее народом в тесной повседневной работе. Мы читали таджикские газеты, слушали таджикских уличных певцов, до сих пор странствующих по Средней Азии. Нам случалось участвовать в собраниях сельсоветов, в ревизионных комиссиях хлопководческих колхозов. Мы знакомились с сотнями таджикских партийцев и работников Таджикистана — от народных комиссаров до пастухов колхозных отар. Заучивали канзусть и переводили таджикские стихи и песни. Читали плакаты, расклеенные на одиноких станциях новой железной дороги; останавливались на постоянных дворах и в заочепных гостевых каморках горских селений.

Это отрывки из рассказа о Таджикистане — в поэзах, стихах, повестях, письмах, дневниках, газетных выдержках, рисунках и песнях.

Авторы

ВАХШ или НОЧЬ В РАБОТЕ

Нам пришлось замечать в придорожной почтовой станции селения Шари, во время развозов по Курган-тибнискому району. Почта-станция, или «рабат», как ее называют здесь, была полна. Оставив выюки у коновязей, где дорожный «саис» в буденновке без звезды, в равной кавалерийской шпелли, ругаясь, встречал проезжих, мы прошли в помещение. В тесной от самоварного дыма комнате сидело шесть мужчин и одна женщина.

Станция наша стояла в двадцати семи километрах от Вахшского строительства. Начиная с урочища Джон-Гунбаз дорога показывала признаки какого-то движения, яриби, гверкаяя, присущих близости больших работ, скрытых еще за холмом, но готовых вот-вот появиться. Мимо дерева с километровым знаком, росшего на выселках селения Шари, проезжали телеги с проволокой и железом,

на которых сидели возчики, гремя и подпрыгивая. У дверей останавливались грузовики, откуда вылезали парторботники, инженеры и гидрографы в твердых от пота пыльниках.

Завтра должно было состояться открытие канала для орошения новых шести тысяч гектаров земли вахшского совхоза. Мимо дверей станции проходили дехкане, со всех сторон собираясь на праздник воды, в красных халатах и сырорытных сапогах. Темнело. Дорога, часом раньше видимая насквозь, становилась теперь короткой, густой и плотной. Она мерцала, отсечивая, как стена, в двух шагах от дверей рабата. Теперь мы видели только отполированный ночным светом край колодца, деревянный ушат и карликовый карагач с черной листвой.

Сон одолевал нас. Начиналась дорожная ночь, от которой просыпаются на заре с желтым осунувшимся лицом, с угольной теплотой вокруг носа и глаз, когда ворочаются на глиняном полу, вскрикивают, когда блестят зубы, трещат суставы и зябко ноют колени, как будто на них льют воду меккой струей.

Близко к полуночи за стеной рабата посыпались листья и пыль, несколько капель ударили в очаг. Мы проснулись от шипения утлей. Еще раз захлопали капли.

Дом дрогнул и зашатался. Звезды в крыше исчезли. С потолка просочилась покатая водяная струя. Гром и плеск.

Все спавшие на кошмах, разостланных на полу, вскочили. Стало мокро и холодно. Один за другим, захватив одеяла и халаты, мы сбились в передний угол, под навес досчатой полки, где было единственное сухое место рабата. Кто-то вытащил из хурджина свечу и зажег ее. Теперь можно было разглядеть всех.

Были здесь все знакомые люди:

Абдурразаков — таджик, сverdлонец, куржан-тибнинский парторганизатор. Он сидел, закутавшись в мгновенно отсыревшее драповое

пальто. Он ехал на Вахшское строительство. Всю ночь он готовился к докладу, перелистывая материалы и записи.

Ганиев — таджик-гидрограф, прежде работавший в гидропункте у Кафирниганской переправы. Теперь он работал на Вахше.

Игамберды — узбек-хлопковод, воспитатель «саттапчи» в вахшском совхозе.

Заврабата — плосконосый юноша, ведающий самоварами, лошадьми и получением газет.

Ашурмахмат — младший механик с экскаватора, кончивший свой двухнедельный отпуск в Курган-Тюбе.

Рыбая полная девушка — студентка КУТВа, сходящая из Москвы.

Рыжебородый благообразный таджик, в серой кепке и в ватном халате, раскрашенном черными цветами. Его называли «хаджи» — титулом паломников в Мекку. С ним разговаривали неохотно. Сам он был болтлив.

Плеск воды на улице становился громче и упорней. Ливень падал плотным столбом. Длинные языки воды затекали в углы рабата и пропитывали кошмы, на которых сидели постояльцы.

В эту ночь никто не спал. Самоварщик — заврабата вытаскил букварь и твердил латинскую грамоту. Хаджи долго рассказывал свою жизнь, свирепо жалуясь на судьбу.

КОЛХОЗНИК, ВАХШСКИЙ РАБОТНИК И ЗАВРАБАТА

— Такой крупный дождь разлил перекрытия на втором участке.

— Глазок, длинная палка да хвост вправо — это «а». Пузырь и еще пузырь — «в». Палка и пузырь — «р». Глазок и два пузыря «о» — «вода».

— Нас затопит, как сусликов. Слышишь, в глах трещит содома, это вода ищет путей.

— Два пузыря и глаз. Пузырь, пузырь глаз. «Б о б о» — «Д е д у ш к а».

— Прежде всего, советую я тебе, друг, обращаясь в партком Вахшского строительства. Там сидит Абдуллин. Ты скажи ему, вот — я приехал нынче из Каратага, я человек крестьянский. Так ему и скажи — я человек крестьянский, хочу поступать в пролетариат.

— А если он меня пошлет к директору совхоза?

— Тогда ты ему скажи — землю-то я видел — ты пошл меня на строительство. Туда, где строят. На самую плотину. Где работают землечерпалки...

ХАДЖИ КУРБАНОВ И УЗБЕК ИГАМБЕРДЫ

— Переправился я вплавь тридцать месяцев назад по дороге в божью Мекку. Тогда вокруг Вахша был только песок, камни, следы лошадей и одна деревня о двадцати домах. В деревне было много неба и дыма. Я был небогат. У меня был достаток, но не было почета. Крыша моего дома была не выше дома моего соседа. Никто пугливо не бормотал, когда видел мою бороду. Зависть, как говорит Мухаммад-и-Ханфи на 23-й строке второго раз'яснения, проела мне тело, как соль, и вышла насквозь и ушла в землю, раз'ежая корни и камни. Я продал дом, козу, соху и ярмо с волами и решил уйти в Мекку и стать хаджи и вернуться обратно на Вахш и получить славу, бакалейный ларь, двух жен и вечную торговлю амулетами. Я переплыл границу афганской страны. Красные пограничники стреляли по плеску моего движения в воде. Я отвечал им криком цапли. В Афганистане я видел, как дикие свиньи топтали и раскапывали кукурузную долину. Я завернул в Белуджистан, где молодые парни никогда не моют чалмы и спят в ней и в складах чалмы живут коричневые гусеницы. Ты слушаешь меня?

— Ври, ври дальше, хаджи.

— Мы высадились в Джелде. Агенты перевозочных компаний завернули нас в белые саваны и сняли с нас шапочки и чалмы. Навы бритые головы были открыты солнцу. Самые богатые из нас подымали над толпой черные зонтики. Нас толкали завернутые в бурнусы носачи. Аравийский городской размахивал на перекрестке большой дубиной. Из-под крупы лошади вылезла черная курчавая голова с вывернутыми губами. Вот тогда и был месяц Зудь-Хидджа, когда наш брат мусульманин священствует по дороге в Мекку. За длинными столами кофеен сидели шиты с преступно красивыми лицами. «Алиевы потроха!» — крикнули мы им и били их по щекам тыльной стороной руки. Они вскакивали, как хорасанские кошки, и старались укусить нас гнилыми зубами. Кафеджи щелкали на американских счетах. Внутри, на деревянных нарах, спали турки. Ты слушаешь меня, проезжий?

— Ври.

— Потом мы сидели на площади. Нас было много. Я пробовал по сотням отсчитывать всех святых, но глаз сбивался на тридцатой тысяче. А араб, похожий на бекского служку,

пробивался сквозь толпу и по очереди подходит к каждому. Кричал лязным голосом: «За место на земле Джедды надо платить!» Мы развязывали пояса и платили ему. Платили за все: бурдючнику за воду, отцу хвороста за огонь. Ты заснул?

— Нет.

— Наутро — время было нам покинуть Джедду. Мы ходили с улицы на улицу и деньги все уходили. «Сегодняшняя газета! — кричал старик, выбежавший из-за угла, — священная газета — «Мать чтения». Покупайте ее!» И деньги все уходили. С вечера мы пошли к Восточным воротам, за лавкой цепью шло несколько чернокожих людей, хабецких подданных. Они спрашивали нас по-арабски: «Hrel Какан образованная богатая хитрая страна эта Аравия! Араб выдумает луну, не правда ли, Мбану?» А мы по-арабски отвечали им: «Не бывали вы в Великой Бухаре, губастые, бухарец выдумает звезды».

— Откуда это ты заговорил по-арабски, хаджи. Впрочем — ари.

— Вышли мы из Джедды. Город кончился у трех палм. Я и палмы видал, дорогой мой. По левую руку было море. По правую — круглые юрты чернокожих. Я и море видал, дорогой. Курчавые негритянки с вступенными животами и сверкающими лицами сидели на середине дороги. Между коленями Маусумы стояла большая ступа. По дну ее Маусума стучала камнем. Я и языка их женщин узнал. Хабецские подданные шли по дороге, глядя на солнце и облака. Они заметили женщин, гадко коснувшись их подбородков коленями. О несчастье, африканский негр может объясниться с хеджасским, только положив на ладонь медную полущку. Негритянки, конечно, потащили нас к своим юртам. Юрты не выше их роста и сложены из керосиновых пустых бидонов, которые валяются на джедской пристани. Мы почевали в этих юртах.

— Все?

— Имей терпение. Утром мы были на дороге в Мекку. Сотни, а может быть и еще сотни, автомобилей быстро неслись по ней. Шли пешие паломники. В щелях между рядами шли ишине. Сказали на конях. Тряслись на мулах. В телегах. Верхом на однопорбых верблюдах. Пешком. В Мекку. Головные колоты скрывались в пыли. В месяц Зуль-Хиджа Мекка жила только паломниками. Негры корзинами привозной рыбы, фокусники со змеями, уличные костоправы, продавцы аму-

летов и запрещенного и Мекке табак — все существовало только для паломников. Самый выгодный промысел это было изготовление амулетов из священной земли. Еретики-вахбиты сдали его на откуп, но мы занимались им ночью, за городом, без патента от Меккского шерифа. На пустынях возле кладбищ дымились гончарные ямы. Голые по пояс люди месили глину для амулетов. Я слепил девяносто футутов, или три тысячи, глиняных таблеток и гвоздем выковыривал на них священную печать и изображение двора Каабы. Кашгарские мусульмане, которые много ходят в хадж и у которых на родине мало покупателей, завидовали мне. Я им говорил, показывая на мешки с землей: «Вот мое богатство, мой дом, мой ларь, мои жены, мои дети, мои козы, моя соха, мой конь. Я буду продавать свои амулеты по восемьдесят рублей за дюжину». Ну вот, два месяца назад я снова добрался до афганской страны. Я служил младшим говоруну у мазарского правителя дел, он полюбил меня за арабский язык. Затем я перешел через границу. Красные пограничники снова стреляли по плеску моего движения. В полдень следующего дня я добрался до Вахша. Здесь я увидел непривычное для себя: селение мое как будто взбухло от лаводжа. Я увидел много незнакомых таджиков из других селений: грабей из Куляба, камарских колодезников, гиссарских стукачей с походными кузиями и строителей из Сталинабада. Все, что я видел, было странно. На шестах возле аскаланных, развороченных пустырей висели полотняные вывески. Я с трудом отыскал свой бывший дом. Теперешний владелец сдавая его семье Холмуродова, прораба совхозных построек. Меня встретила его жена, и я велел ей купить амулеты. Испугавшись неожиданности, она отдала мне всю мелочь, которая у нее была. С тех пор я не продал больше ни одного амулета. Я ходил по крестьянским домам — мне говорили: «Иди горой, а мы пойдем живьем», и смеялись. Я ходил в дома крепких мусульман, но они выгоняли меня с криком: «Не до тебя, святой», и давали мне половину чертовой лепешки. Наконец я пришел на Вахшское строительство.

— Только тебя там и не доставало.

— В рабочих бараках меня побили два землекопа из Сарая, суровые люди. «Мы копаем землю, а он продает нам тухлый арабийский песок», — так они говорили. Тогда я во-

шел во время обеденного перерыва и сказал: «Жив у нас еще Ислам или нет больше Ислама, как писал Вохид Паймони?» Потом они меня выгнали.

ИГАМБЕРДЫ И ГИДРОТЕХНИК ГАНИЕВ

— Как ты думаешь, насколько увеличился расход воды?

— Я думаю, если дождь все время будет так падать, течение подымется на 25 сантиметров. Я помню в начале вахшстроевских работ мы стояли в двух экспедиционных палатках—знаете, эти четыре крыла, загнутые внутрь, и когда дотронешься до намокшего брезента, то в этом месте образуется сток воды, как будто в вас стреляют из пожарного крана. Молодой Ниязулла Акрамов получил тогда двухсторонний плеврит и лежал на спине два месяца, совершенно неподвижный, только качая головой из стороны в сторону. Петросянц Аветис, который приехал с ними вместе на практику из Самарканда, каждый вечер рассказывал ему—сколько делений стоит вода на рейке и сколько баллов и сколько расхода реки на один кубометр; а потом Петросянц оседлал коня и уехал, и молодой Акрамов остался один, и никто ему уже не мог объяснить пройденный день. Он испугался, что наука уходит от него и вскочил на ноги, весь завязанный и перевязанный, как шелковый кокон. Потом он проработал два дня, по икры в воде, и схватил воспаление легких. И все-таки остался жив. Он сказал: «Коммунисты не боятся воды и боли»,—и уехал.

МО-ШИРИН—СТУДЕНТКА КУТВА, И АШУР-МАХМАД—МЕХАНИК

— Подвинься, пожалуйста. Мне негде положить одеяло. Всюду мокро. Я в Москве отвыкла от такого дождя. Если накрапывает, заходишь в красный автобус.

— Удивительно, Аджаб-у-тааджуб. Чудеса из чудес.

— Ты вахшский?

— Я младший механик на экскаваторах. Мы роем головной канал. У нас есть 26 экскаваторов. Я слышал лекцию инженера. На Панамском канале, где-то в Америке, было 17 экскаваторов, а это канал первый в мире. Ты понимаешь—как тебя зовут? Мо-Ширин Качкарова. Ты понимаешь, Мо-Ширин, что на будущий год ты сможешь пройти вот до тех гор—и все будет египетский хлопок. Если ты

пойдешь в белом платье под осень, то тебя примут за куст хлопчатника. Новая машина—пневматичка, которую недавно привезли на вахшский совхоз, соберет тебя вместе с ватой. Это шутки. Но понимаешь—в будущем году у нас будет 37 тысяч га одного египетского. Мы строим плотину. Станцию на 40 тысяч киловатт. Через два года будет 100 тысяч га. Будет 20 миллионов метров ткани, это уже не шутки. Это Вахшстрой.

— Аджаб-у-тааджуб. Чудеса из чудес.

ЗАВРАБАТА

— Глазок, длинная палка да хвост вправо—это «а». Пузырь и еще пузырь—«в». Палка и пузырь—«р». Глазок и два пузыря—«ов»—«вода».

Дождь прошел. Мы заснули, завернувшись в одеяла. Вскоре наступил рассвет.

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА СУЛТАНОВОЙ

Лятифа Султанова, 24-летняя долинная таджичка, встретила с нами в доме народного суда в северной части Таджикистана. Был август 1931 г. Дом суда, отобранный в прошлом году от содержателя конно-почтового двора, уличенного в укрывательстве бандитов, был построен, как сельская мечеть, с резными деревянными колоннами. В черном потолке над нами светились открытые стропила. Тлея очаг, полосатый от звездного света. У передней стены на покрытом красным сукном столе стоял глиняный кувшин с водой. Архив нарсула был сложен рядами пухлых папок, где угловатым крестьянским почерком были заклеены преступления, совершенные в районе за 14 лет: убийства дехкоров, кулацкие свадьбы, оканчивающиеся самоубийствами жен, тайные заговоры против колхозов, расстраты и последние калымы.

Султанова оказалась нам болезненной и слабой, как подросток. Она носила просторную блузку цвета хаки; на спине ее лежали две толстые косы. При ходьбе ее плоские бухарские туфли стучали по земле железными набойками. Вот какая это была девушка! Она работала десять месяцев помощником маганского райпрокурора. В августе она отправилась учиться в Ташкент в таджикский Инпрос, имени Зелинского. Она в первый раз ехала в крупный центр. До сих пор самым большим городом в ее жизни был Пянджикент—селение северного Таджикистана, с четырехугольной площадью, мелким базаром и с русской часовой, где летом 1931 г. вместе

з техником Васильевым мы организовали радиоузел. Мы слышали о ней с 1929 г., когда она была женоргом в горном Захматбаде.

Сойдя с порога нарсуда, Султанова перешла площадь, где закрывались последние лотки Таджикторга, освещенные линейными лампами. Мимо проехал вгадник с бидоном керосина, бренчавшим на седле, конь его переступил малеккую тень женщины, которая растягивалась и сжималась впереди нас.

— Вот и дурная примета: конь с'ел свою тень, гражданин помощника прокурора,— радостно сказал пожилой человек, стоявший у входа в ЗРК «Хлопкороб-Опытник». Он служил здесь старшим приказником. Два года назад он содержал на южном конце площади бакалейный ларь. Султанова повернулась к нему.

— У нас все приметы к добру,— сурово сказала она,—я Гузарском районе я видела, как черная лошадь наступила на тень ребенка: мы освоили в тот день 50 га полевой пустыни. Потом я видела, как белая лошадь наступила на тень ребенка: мы освоили 54 га пустыни. Потом я видела, как ребенок наступил на тень белой лошади: мы освоили 57 га.

В полночь мы сидели на полу в осыпанной белой штукатуркой тесной квадратной комнате Лятифы Султановой. Положив тетради на табурет, при свете мы записывали отрывки из ее дневника—отрывки из дневника коммунистки горного Таджикистана, составленного по время ее работы в Захматбаде в 1929 г.

...12 января я была назначена женорганитатором в Захматбадский район. Перед отъездом, когда я садилась на коня, товарищ Файзулло и Катя Петрова взяли с меня слово вести дневник. Я обещала.

Следующую ночь я провела в пути. В темноте меня несколько раз окликали мужские голоса, недружелюбно спрашивавшие, куда едет женщина—одна, ночью, верхом.

Я отвечала:

— Я еду на работу. Обойдусь без коня. У меня есть револьвер.

Разочарованные, они отъезжали.

Через два дня я приехала в горы. Захматбад был занесен снегом. Я с трудом отыскала кибитку райкома, прикрытую большим сугробом. Мне рассказали непонятный случай, происшедший здесь несколько дней назад.

Из кибитки Дахона были направлены в Пянджикент восемь девушек-подростков на учебу в педкурсы. Они дошли до полдороги

и у разрушенного моста через Дуоб остановились и вернулись назад. Сопровождавшая их комсомолка Гафурова в слезах прибегала в райком, жалуясь и унылая.

Она рассказала:

— По дороге нас нагнал пономарь поселка Дахона—Шо-Гада и что-то шепнул самой старшей девушке. Я заметила, что она затряслась, потом подозвала подругу и тихо заговорила с ним. А я ничего не расслышала. Потом все они сразу повернули и пошли назад.

Еще два дня я провела в зимнем Захматбаде. Несмотря на свое название «Захматбад» («Цветущий труд»), поселок показался мне легким и сонным. Секретарь райкома Курбанов, кончивший таджикский Инпрос в Ташкенте, шевелил и толкал местную жизнь то в бок, то в спину вместе с несколькими молодыми ребятами. 16 января задул ветер с перевала—здесь называют его «ягнобец»—и принес жестокий холод. Во дворе рика за мерзли две курицы и теленок.

17 января.

Первым рассветом я вывела коня из стойла. Было так холодно, что лошадь дымилась. Меня провожали захматбадские товарищи, одетые в теплые, неподвижные и закутанные в ватные халаты. Ю. Халили принес мне суконый чекмень и сказал шутливо:

Имей в виду—замерзать нельзя. И Файзи прибавил:

— Подождать тебе лучше два месяца—будет тепло. Зимой люди в горах храпят, как зурки,—тебе их не добудиться.

— Рабужу, Файзи-Джан,—крикнула я и, качаясь в седле, поехала в гору.

Ехать было тяжело. Ветер задевал глаза колючим снегом. Ноги лошади срывались на скользкой тропке. Камни с глухим гролом падали в ущелье из-под копыт, и за ними вслед летели снежные глыбы.

20/1. Полдень.

Замерзшая, я села у очага в закопченном доме председателя сельсовета Дахона. Бородатые старики собирались со всего селения, пока я освобождалась из чекменя и стаскивала мокрые мужские сапоги. Я осталась в юбке и в городской трикотажной кофте. Старики смотрели на меня с угрозой, как будто я была голая. Когда я вытаскала мыло и зубной порошок, они пересмеивались и поддвигали друг другу. «Какие темные люди!»—подумала я. Наконец, когда я достала зеркала

ло и щетку, один грузный старик — имам мечети — не выдержал и крикнул:

— Закройся, бесстыдная, а не то я перешибу тебе нос. Как ты сидишь перед мужчинами. Встань, иди в другую комнату, к бабам!

Сельсовет нерешительно проиямил:

— Не отсылай ее, ты ее не трогай, это ведь к нам прислана из «райуна»...

Имам и старики, ворча и ругаясь, ушли. Я осталась вдвоем с председателем.

Я спросила: кто это такие, что делает сельсовет, какая здесь расстановка классовых сил, почему девочки-курсантки вернулись?

— Это люди старого времени, но ты на них не сердчай. Имам человек честный. Он поддерживает сельсовет. Классовую борьбу я веду, а девочки вернулись, потому что им было холодно,—так я им посоветовала через службу,—ответил мне председатель.

Назавтра из разговоров с женами батраков я узнала, что председатель — бывший бай, бекский писарь, купец, терьякеш, всеми неправдами пролезший в сельсовет заброшенного в горах селения.

И я, не вешая носа, приготовилась к серьезной борьбе.

КАСЫДА¹ О ГЛУПОСТИ

На каждой улице среднеазиатского города мы нашли бы в прошлом одну или две, а то и больше, чайханы. Это были неширокие деревянные лавочки, по большей части на перекрестках. В глубине у громадного желтого самовара (в сельских местностях самовары заменял маленький закопченный «чайджуш», медный кипятивник, вроде тех, которые в Афганистане и Индии называются «сомовот») сидел чайханщик, перетирая палы и фарфоровые чайники. Здесь играли бродячие музыканты и танцовали накумари и насурчленные мальчишки. Богатые бездельники просиживали здесь целыми днями, грязя изюм и слушая базарные сплетни. Сюда приходили погонщики верблюжьих обозов, чтобы пообедать двумя чашками горячего чая и куском

черствой лепешки. Сидели до поздней ночи и засыпали здесь же на разостланных самоварщиком матрацах и валиках для сна.

Сейчас эти чайханы вымирают. Красные чайханы, имеющиеся в каждом городе,—это не совсем то же самое. Это—скорее клуб и иногда общежитие. Здесь играет радио, читают газеты, останавливаются командированные; горсовет назначает заведующих красными чайханами. Большой частью они комсомольцы, они пропагандисты. Чайхан старого типа осталось очень мало, они встречаются еще кое-где в районах.

Приехав в Истаравшанский район, мы остановились в одной из таких чайхан, содержимой рябым болтливым персом. Половина ее была отгорожена под харчевку, там стояли длинные столы, люди сидели на скамьях. На деревянном помосте, построенном у входа в чайхану над широким арыком, в тени плотного вяза, сидели и лежали окрестные дехкане, приехавшие по разным своим делам в район. Это были по большей части одиночки. Колхозники останавливались в Доме дехкана и в соседней красной чайхане.

— Хайма торик, хайма торик ай, дар торик дунно,—надрывался у входа певец, приглашенный чайханщиком.—Все темно здесь, все темно здесь, в этом мире все темно,—орет он старинные слова, пристукивая по деке своего дютара и дергая большим пальцем шелковички, заменяющие струны.

— Да, всюду, всюду ночь,—орет, вздыхая его сосед, по-своему толкуя песню.

Иза плеча певца мы видели его войлочную треуголку.

Мы пересаживаемся на другую сторону чайханы. Сидимся возле стола, покрытого клеенкой, которая заплывана заплесневелыми косточками из бараньего каурдака и залита водой. Теперь мы хорошо видим соседа. Это тот тип, который в Средней Азии соответствует стандартному русскому кулаку, изображаемому в кино. У него отчетное женственное лицо, слабая растительность, землистая кожа, нежные печальные глаза, вывороченные губы.

— Всюду темно, всюду темная ночь,—кричит он шопотом и прикрывает глаза от восторга,—всюду колхозы, американские плуги, волосы выпадают от ужаса. Заставляют сеять хлопок, а когда на поле не будет пшеницы,—никто не привезет хлеба, и мы будем голодать. Сегодня сиди мы еще в чайхане,

¹ Касыда — Касыдой называется ода, поэма панегирического или дидактического содержания. Множество таких касыд имело хождение среди таджикских мулл и улемов и распевалось дервишами «каляндарами». В «Касыде о глупости» нарушены, разумеется, все каноны обычной оды.

завтра?.. Кто знает? Всюду темная ночь. Славяно, дарвазец, хорошо поешь, по-старому,— поощрительно говорит он затем, обращаясь к пещцу, и подносит рукав к губам.

Движения его так же типичны, как его лицо. Он совершает их по кругу и, закончив, начинает снова.

Вот он изменил позу. Приоткрыв глаза, он вынимает из рукава ручную перепелку и кормит ее крошками изо рта. Он, должно быть, любителю птичьего пения и перепелиных боев. Мирзо-Хамид — сказочный бай прошлых дней. Покорив перепелку, он снова прячет ее в рукав. Эта перепелка в рукаве придает его движениям страстную плавность и связанность. Затем он снова взмахивает рукавом и откидывает голову, обнажая толстую шею, базедовую шею Мирзо-Хамида.

— Спой! Еще спой, дарвазец! Еще спой о наших временах!— кричит он пещцу и бросает ему рубль.

— Хорошо,— странно улыбаясь, отвечает певец, всей кистью руки ударяя по шелковинкам и меняя мелодию с тягучей на быструю и веселую.— Я спою оду, спою по-старому, как пелал поэт Мирзо-Бидили.

Вот какую оду он поет.

КАСЫДА О ГЛУПОСТИ, ИЛИ КАК МЫ УЗНАЕМ ВРАГОВ СОВЕТСКОГО ТАДЖИ- КИСТАНА

О, как мне не спеть похвалу садам глупости!
Привет тебе, о султан и Адам глупости!
Когда ты ора: «Не кадо хлопка, сейте

хлеб»,—

Я слышал злобный стук барабана глупости.

И я подумал: «безумный человек!

Понистине, он вожак каравана глупости».

За бедным смыслом его предательских слов

Я слышал только шорох шагов глупости.

Я думал: «он удобряет сплетней умы—

Должно быть, он агроном лугов глупости».

Но я ошибся: он не был скромным глупцом,

Он был владельцем двух княжеств—злости и глупости.

О, князь злости, ты хочешь отдать огню

Поля и жатву хлопка сжечь на корню.

О, князь злости, как дара, ты ждешь войны,

Ты ждешь чумы, ты ждешь сумы для совет-
ской страны.

О, князь глупости, ты осужден судьбой,

И эта злота вымрет вместе с тобой.

Ты любишь коней и седло с золотой фольгой.
Смотри, как поезд идет в степях Бухары.

Ты любишь носить вьюки на спине слуги,
Смотри—

лежат в ногах мардикора твоих
ковры.

И я топчу узоры твоих ковров, бай,
Послушай мою касыду о злоте и глупости...

— Что скажете, товарищи, об этом человеке,— сказал нам певец, указывая на то место, где сидел бай,—он бежал, не дослушав до конца моей песни. Вот что значат мои касыды, посыпанные перцем, настоянные на укусе и сдобренные дарвазской солью.

Так мы познакомились с певцом Пир-Мухаммадом.

ХУДОЖНИК ИЗ КИШЛАКА

Это письмо представляет собой а подлиннике тоненькую книжку, на манер литографированных калькуттских и тебризских изданий, отпечатанную на скверной желтой бумаге в типографии вилайетского центра. Перед каждым рисунком находится короткий текст. Мы снабдили кроме того все рисунки необходимыми пояснениями.

Художник, в манере старого персидского лубка, ведет графический разговор с длинными корреспондентами, рабочими хлопкоочистительного завода. Иногда в традиционной рисовальном приеме «повествования» с особенной силой врывается новая реалистическая трактовка предметов, заимствованная художником из виденных им штриховых клише в узбекских журналах Самарканда и Ташкента. Это бывает главным образом тогда, когда художник изображает черты новой, изменившейся Средней Азии.

Вы ясно видите, как старинное, воспитанное веками отношение к миру наполняется новым содержанием и потом меняет и самую форму.

О НАС И О НАШИХ СОСЕДАХ

ПИСЬМО В 15 РИСУНКАХ

От недостойного художника кишлака Чорбид—дорогим землякам, работающим на хлопкоочистительном заводе в Ходженте.

Любезные друзья, мы давно не видались с вами. Прочтите наш письменный привет.

На рисунке изображен почтовый ящик, откуда деревенский почтарь вынимает письма, предназначенные для отправки в города. Ящик привешен к иве, стоящей на границе селения. Художник изобразил сады, несколько далеких топей и уходящую по дороге арбу. Почта появилась в глухих таджикских кишлаках всего год или два назад.

Наш поселок попрежнему далек от центров. Мы живем на самой границе с Афганистанским государством. Посмотришь ли на тот, посмотришь ли на наш берег,—видишь одинаковые горы. По ту сторону границы живут точно такие же, как мы, таджики, и точно так же они закручивают свои чалмы. Наше селение зовется Чорбид, а по ту сторону—кишлак Дубида. И там и тут растут ивы. Зато разница между нашей жизнью и жизнью наших братьев огромна.

Вот и пограничный столб, и афганский офицер на коне с разукрашенным седлом вглядывается в то, что делается по эту сторону реки Пяндж. Вокруг растут условные цветы, выписанные старинным таджикско-персидским узором «таус». Художник изобразил афганца карикатурно женственным.

Из домов на выселках кишлака ясно видно все, что делается на другом берегу пограничной реки. Пяндж узок. В Афганистан переселилось в недавние годы много наших врагов. Бухарские шейхи... остатки басмаческих шаек, с позором выгнаны нами из советской страны.

Под карагачем, на молитвенном коврике мы видим бежавшего в Афганистан ишана. Над головой его написано: «Шейх Абулкасим». У него зверское ханжеское лицо.

Быстро несется Пяндж.

В ущелье на лобастой скале сидят басмачи. Они в чалмах. На груди у них перекрещиваются патронные ленты.

На горах вокруг растет можжевельник, чинар, листья ривоча, похожие на огромные лопухи. Эта часть Афганистана называется Каттаган.

Утром, выходя на полевые работы, члены нашего колхоза видят, как на афганской стороне реки проходят седобородый ишан, бе-

жавший от налогов купец, эмирский сборщик податей—вчерашние наши угнетатели.

Эй вы, проклятые скорпионы!..

Художник дает здесь неожиданный скачок. В своей своеобразной манере он графически запечатлевает метафору, как бы фотографируя мелькнувшую на мгновение мысль. Он рисует скорпионов так же, как дальше рисует гидр, и воздействие этих обычных для таджикского уха сравнений усиливается в десятки раз.

Вы, гидры, пожирающие достояние бедняков...

Многоголовая гидра на рисунке поедает трудовых крестьянских волов, дома, детей.

...вместе с мусором выметенные нами—ростовщики, муллы, генералы, полнейские, шахи...

Слева направо: ростовщик в черной барашковой шапке рядом с денежным сундуком. Возможно—он индус, как большинство ростовщиков в дореволюционной Средней Азии. Дальше жирный мулла в белой чалме. Военный чин с кришовой старинной саблей. Полицейский, всегда готовый повиноваться. Бывший бухарский эмир, находящийся сейчас в Афганистане. Над его испытанным солдафонским лицом рисовальщиком выведена надпись: «шохи-михрибон» — «возлюбленный шах».

По вилке подобных вам грабителей афганский крестьянин до сих пор спит на голых камнях.

Унылый куст «бурса» — горного можжевельника. Острые скалы. На них простерт бедняк. Для наглядности над лицом его художник написал: «всюду камень».

Что же у нас, любезные друзья? Как проходит день на нашей стороне, уважаемые товарищи земляки?

Солнце поднялось высоко. Все односельчане наши из артели «Красный шелк» прошли вдоль берега Пянджа и вышли на склон поля. Лябиджон, который еще о прошлые лет»

стал секретарем артели, и его жена Рахима-Бигум (теперь она стала бригадиром женской ударной бригады)—вот они.

Лябиджон и Рахима-Бигум работают на отсадке шелковичных саженцев. Во всем горном Таджикистане сейчас развивается социалистическое шелководство. В долинах — борьба за египетский хлопок, в горах — за шелк. В 1929 г., когда бандиты Фузайль-Магсума сделали из Афганистана набег на горный Гармский округ, они первым делом захватили несколько ящиков грены.

Дорогие друзья, любезные товарищи!

Нашего селения не видели вы несколько зим. Оно изменилось. То, что было кустарником, стало пышным деревом.

На рисунке два круглых широких вяза. На ветках сидят птицы. Внизу густая солнечная трава.

Рядом с домом амьлдара, разбитым о прошлую осень, выстроен Дом колхозника и дехканина. Вот он.

Районный клуб колхозников. У входа стоит дехканин и разговаривает с женщиной. Это — «снова» женщина. Лицо у нее открыто.

Муаззин напрасно зовет верующих с минарета, стройного, как тополь. Идут на молитву только сгорбленные старики да жирные кулацкие дети.

Минарет сложен из грубого кирпича. Слева тополь. Справа извилистое дерево синджид. Листья этого дерева пахнут сладко и одуряюще. Их запах воплощает для горного таджика память о горах. Внизу — море трав.

Если от нашего селения спуститься на два километра ниже по реке, то ущелье превращается в долину. Здесь хлопковые поля. Здесь МТС. Здесь колхоз «Арал». На поле Дашти-Вайрон, где Абдулло-хан сжег деревню «гнубских» переселенцев за помощь красноармейцам, вы увидели бы 230 га египетского хлопка, засеянных колхозом.

Мой брат Худойдод второй месяц ходит на курсы трактористов. Он комсомолец. Он мастер.

Тракторная колонна. Таджики-трактористы. Внизу подпись: «Вперед! Лицом к новым коллективным хозяйствам!»

Полдень. Высокое солнце поднялось над Таджикистаном. Это солнце выжигает бесплодные степи. Сушит богару. Нашему хлопку оно несет благоденствие.

Прощайте, друзья! Время и мне приниматься за работу. Довольно болтал я с вами. С поля кичет меня Лябиджон.

Прощайте, друзья! В своих изобильных долинах, где собраны нити революционных дел, не забывайте нас, кумболойских таджиков.

Прощайте, друзья! В своих изобильных долинах не забывайте скроинного художника из далекого кишлака Чорбид.

Этими художник заключает свое письмо. Он помещает здесь свой автоподрет, так же как старинные поэты в газетях ставят свое имя в последней строке.

ЗА ЧТЕНИЕМ ГАЗЕТ

В 1912 г., когда не было ни города Сталинабада, ни Таджикистана, а было Бухарское ханство и были глухие горные и долинные бекства, где крестьяне платили налоги, исполняли повинности, становились на молитву пять раз в день под угрозой полицейской кутузки, верили в драконов и в людей с собачьими головами, когда во всей стране не было ни одной школы, кроме духовных, где учили астрологию и заучивали наизусть Коран, и не было ни больниц, ни железных дорог и даже арб и телег (мы говорим о нынешней территории Таджикистана), появилась на свет первая таджикская газета. Она называлась «Бухорои-Шариф» — «Благородная Бухара». Просуществовала недолго и была закрыта распоряжением эмирских чиновников. Это было двадцать лет назад.

Надо ли говорить, что сейчас в Таджикистане существуют газеты и журналы с многотысячными тиражами. В любом справочнике вы можете найти газеты «Красный Таджикистан» (до 1929 г. — «Бодрствование таджи-

ка», «Комсомолец Таджикистана», «Ходжентский пролетарий», «Дехканская беднота», «Красный Бадахшан», журнал «Путеводитель знания» и т. д. и т. д. А радиогазеты! А газеты на предприятях!

— Вот так не читают в Индии и в Афганистане, — сказал Баба-заде, вводя нас в комнату городской читальни, где стоял длинный стол и деревянные скамьи. На столе в беспорядке лежали книги и газеты. Под грушевидной электрической лампой сидели делегаты гиссарских колхозов, собравшиеся на слет ударных бригад. Их было человек сорок — может быть больше.

Сторож положил перед каждым только что полученные сегодня номера газет и журналов и потом ушел на цыпочках, чтобы не мешать чтению.

В читальне сидели такие люди:

Бородатые, крупноносые, сутулые, в ватных заплатанных халатах, в левой руке они держали камчи и уздечки, снятые с оставленных на постоялом дворе коней.

С мучительным вниманием, покачиваясь и скрежеща зубами на поворотах трудных фраз, где стоят запятые, они близко наклонялись к столу (хотя, верно, среди них не было ни одного близорукое). Они вскрикивали от радости, когда удавалось легко прочесть и понять трудную мысль — так прилежно они читали. Большинство из них научилось грамоте за последние два года.

Что читали таджики в тот день?

ПРОСМОТР ТАДЖИКСКОЙ ГАЗЕТЫ

«Комсомолу Таджикистан», адрес — город Сталинабад, цена 5 коп. На штурм хлопковых полей, на ликвидацию прорывов посевной. Темпы вспашки, полива, сева... Все на поля. Восстание на острове Мадейра, принадлежавшего западному государству Португалии. Индия. В Каунпуре убито 296, ранено 365. Новый наиб английского падишаха лорд Зеллингтон прибыл в порт Бомбей. Экстренная телеграмма: Арал, 4 мая. В селении Ходжа-Кала, на афганской границе, две недели назад появилось 25 хозяйств бальджуанских переселенцев, спустившихся к кам из

своих бесплодных ущелий. Организован колхоз имени газеты «Комсомолец Таджикистана».

СТИХИ

Выходи в поля; день весны настал,
И великий день для страны настал!
Тракторист, скорей садись за руль!
Сон исчез с полей — час войны настал.
Коллектив ведет нас на штурм полей:
Торопись — день памятных дел настал!
Миллионы семян хлопка вошли
В разрытую грудь широкой земли.

С.

Салом! Оташин ба пуркуватариин органи маркизи фиркан

Привет огненный могучему органу центральной партии

Ленин! Ба Парад у Мурабии матбуоти пулветори — рузиро май «Правдо».

Ленина. Отцу и воспитателю печати пролетарской — газете «Правда».

Набиджон творит чудеса. Курган-Тапа. Несколько дней назад мы писали и писали вашему вниманию об украшенном рабочей славы механике здешней МТС Набиджоне Атаханове. Вот это человек, достойный своей социалистической родины. На своем джон-дире он вспахал за прошлые сутки восемнадцать га хайробоодской пустыни. Но какие это были восемнадцать га — все щебень, камни и кустарники!

Гредатели разоблачены. Классовая слепота оппортунистического руководства колхоза «Новый путь» привела к засорению колхоза бандитами и кулаками.

Бан сопротивляющийся введению сельщины. В фонд премирования колхозов выделено 12 библиотек. Испанская монархия сметена. В Севилье коммунисты организовали митинг. Полиция открыла огонь.

Письмо из Ташкента. Завод, на котором мы будем сами строить машины для полей, скоро будет окончен. Сегодня в Сталинабадском клубе заседания общественного суда.

Эй, декхан и мардикор,
Выметай врага, как сор:

У рабочих с кулаком

Недалекий разговор.

Бай и муфтий и мулла —

Жизно к яду из села!

Мне собралось жить в колхоз —

¹ Следует запомнить характерную особенность таджикской прессы 1931 г.: она печатается на двух алфавитах, ввиду перехода на латиницу. Часто «шапка» напечатана арабским шрифтом, а текст латинским, и наоборот.

Завернем теперь дела.
За работу! Марш в поход!
Братья, время нас не ждет!
Перевыполним свой план!
Комсомолия, вперед!

М. Мир-Шакар¹

Требуется доктор. В кишлаке Суркот, района Урот-Тева, живет сто двадцать домов. Ближайшая больница находится в двадцати пяти километрах. Открылась красная чайхана в кишлаке Кубр джамота Пиробод, район Ла-

¹ Мы узнали об авторе следующее: ему 17 лет, он шуганец, уроженец Памира, комсомолец, имя его довольно часто в последний год появляется в газетах.

кай-Тоджик. Мы надеемся: в будущем времени по всему району откроются подобные чайханы для распространения советского просвещения.

Что постановило Средазбюро и о чем говорил товарищ Бауман. Читайте завтра подробное изложение.

Темпы плюс качество. Мы будем бороться за комсомольскую большевистскую газету. В Китае силы коммунистов растут. Владельцы румынских нефтяных источников болны лихорадкой мозга.

Объявление: завтра в 12 часов состоится собрание...

Отв. ред.

г. Сталинабад. Гостипография».

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЙ СОВЕТСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МАЙ

№ 5



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1932 ЛЕНИНГРАД

Весна в Локае

А. Саргиджан

1

Человек пашет землю. Быки послушны ему, как мускулы. Соха оставляет позади по земле синий шрам.

Сыры и голы горы Локая. И плоски. Такою была земля, вышедшая из моря. Покрытая еще не травой, а лишаями и плесенью. Если эту землю поцеловать, на вкус она окажется соленой и горькой.

Сер Локай. Лишь скудные оттенки серого создают пейзаж. Но и оттенки однообразны. И безутешно счастье азиатской песни.

Человек пашет. Ядро давит шею бородастым быкам. И животные смотрят вниз. Выгнув кривые сабли плоских рогов. Печатая копытами тюльпаны — таков их след в глине.

Из глины сложены кишлаки. Из глины кувшины на краю кровель. И каждый росток окрашен ее тусклым светом. Здесь я видел сады, вылепленные из глины.

Толсты стволы деревьев, будто поднятые ручьи лавы. Толсты и громоздки скудные ветви. Они растут — грубые, как первобытные деревья рая.

В раю весна. Над своими голыми стволами урюки и вишни сплошь покрыты голубым и розовым цветением. Но едва к цветам привыкнет глаз, понимаешь, что и они серы.

Много на деревьях цветов. А листьев еще нет. Нет указания ни в Коране, ни в Библии, чем начат рай, — листьями или плодами. Цветами, а не листьями начинается свою весну Локай. Сырой и скудный, как день мироздания.

2.

Пристальные, с попутным ветром песен, идут мимо люди.

На поля выходят тракторы. Они задыхаются от напряжения жизни. Они годятся ворошить тяжести. Они слишком тяжелы жить. Ко-

гда пройдет эпоха цветов и завязей, пахот и всходов, ко временам сбора и уборочной, их не будет, — стихия выродит их в легких и послушных, — несорогов в коней.

Жажда останавливает людей у глиняного порога. Здесь не навешивают дверей. Когда уходят, дома раскрыты для всех, как пещеры. Никого нет. Только в углу, где очаг, на волчьей шкуре спят ягнята. Сон их крепок. Они растут.

Прохожие пьют из желтой тыквы. Вода свежа и солоновата.

— Дайте и мне, — просит тракторист, входя в жилье. Вода ползет в его горло, как змея. Пахнет он душной гарью. И не смотрит в глаза.

— Откуда? — спрашивает тракторист людей. Их двадцать два человека. Они идут мимо с песнями, босиком, юноши и старики, перекинув через плечи халаты, накрутив на головы рубахи от зноя, у кого нет чалмы. Надо остановиться, переждать зной. А ждать некогда:

и в Локае, здесь, и в Яване — дальше; и на прочих полях долины Таджикики сейчас пошли на целину тракторы. Топтать камышевые заросли. Рыть никем не троганную землю. Перепахать рай.

И отсюда, и там, из зарослей, из тигриных теней камыша, тигры бегут в горы. И горят пустыри, зажженные нетерпеливым нашествием. Дым похож на цветущие сады. Вспаханые пространства огромны. А людей нет.

И вот из тесной Ферганы на пустые места идут испытанные хлопководы. Здесь самые жаркие поля Союза. Только здесь и вызреет редкий и нежный сорт хлопка — *изира*, египтянин. И тогда не нужно будет везти его из-за моря; он обживется на полях страны, как рожь, как тыквы. Как стал своим, завезенный из-за океана, картофель. Тогда были картофельные бунты против чужеземного овоща. И

когда пришли о них первые вести в наше детство, кто из нас не смеялся на тех чудачков, бунтовавших лет триста назад.

Здесь локайцы, — черное узбекское племя — пасли стада. И земли были не мерены. И жизнь неизменна испокон веков. Из камышевых цыновок на лето, из глины на зиму, строили локайцы жильё. Жили осторожной жизнью, готовой вскочить в седло. Оседланными стояли кони у входов; несчитанные в зарослях брели стада. На быках сохой царапали холмы, ради горсти пшеницы на хлеб; допатами копали болота, ради горсти риса на плов. И поля, возделанные для жизни, были не больше ковра для сна.

Наступило время большого плана. Скотоводам дали горы, куда некогда предки их отеснили таджиков. А пастбища — тракторам: только здесь, в горячей земле таджикийских равнин, взойдет, выстонт и вызреет нежный и поздний египетский сорт. Его волокна длинные и мягки, подобны шерсти шленской овцы. Тонкорунный хлопок.

Тракторы пашут. А людей мало. Некому отмотать и заботливо разбросать по земле семена.

На пустую землю, разжавшую длинные, как бесстыдные губы, пласты, на ожидающую семян землю, идут сеятели. В Локай, в Яван, на долины Вахша, на берега Пянджа с полей перенаселенного севера, из родных виноградников. Потомственные хлопководы. Пристальные, с попутным ветром песен, целыми колхозами, по двадцать два, по сорок, по сто человек, ююши и старики, на первообитную землю. Не учиться на ней труду, а ее обучать труду.

Остановились пить. Ягнята спят.

И человеку, и скоту, и хлопку нужна вода. Но стада и человек ходят к воде. А сюда ее надо привести от рек. И поднять уровень рек. Изменить древнее речное течение. Чтоб вся эта низменная страна, пересыхавшая в летние знои, обрела влагу.

И когда одни идут чрез Локай сеять, другие по этой же дороге тянутся на Вахш, строить плотину. Самую большую по всей Таджики. А на Пяндж идут люди строить плотину, чтоб у реки отнять заливные земли, где влага слишком обильна и мешает египтянину.

Не только засеивать, а и орошать. А и человеческим голосом, и плачем детей, и песнями женщин наполнить страну, проходят че-

рез Локай люди. В их руках рукоятки лопат вместо дорожных посохов.

Из длинного их запева, где только голос без слов излагает уклон песенной темы, потом проступают слова о городах. Так покинувшие в новое место свою оседлую жизнь земледельцы.

Раньше людей создана была ты, Матушка-Бухара. И ты, Отец городов Самарканд. И ты, Ташкент, пасущий стада.

На земле на спинах лежете вы И глядите в светлое небо вы, И говорите между собою вы.

И дороги меж вами — ваш разговор всегда. Но все вы сучий живот, щенки, Сосете, доколе сосцы реки Обильны. Дотоле и велики.

И горды вы, города.

Раньше нас, людей, раньше вас, города, Прошла по земле вода.

3.

Кибитка пуста. Только два кувшина на полу. Да шкура с ягнятами. Да стопа одеяла на сундуке у стены.

Но свет от входа потускнел. У входа стан человек. Он был широк и хром. И сел на корточки там же, у двери, не входя внутрь. Он кусал и тербил в пальцах соломинку. И молча царапала его пыль.

Как она лежит на земле, эта пыль. Ведь она легче воздуха.

Но сел он так, что мешал выйти. И, отирая губы, франс колхоза спросил, не он ли хозяин.

— Нет. Тоже иду.

Они недолго помолчали. Переселенцы медлили вступить в зной дороги, словно купальщики в холодную воду. И прислушивались к себе, утолившим жажду. Иные переобувались. Хромой махнул на ягнят:

— Теперь овцы едят волков.

Ранс переспросил хромого.

— Все опрокинуто. В опрокинутой чаше не удержится вода. Вижу вас: набожность где вам держать! Вы опрокинутые люди.

Тракторист свернул махорку. Он не знал языка. Там ждал его трактор. Жажда пригнала его сюда. А удерживала прохлада.

Хромой выволок черепаха и положил перекрестком. Она мускулистой ногой царапнула пыль порога и поползла обратно к его ногам.

— Вот взгляни. Знак. Вот и черепаха человеком была, а наказана. Это был нечестный купец. Он всякого норовил обвесить. И тогда прогневался бог. И чашки весов зажали его между собой. И ему никогда из них не выбраться. Так и ползает во прахе.

— А джеб обращен был в змею. Ей за ложь плюнул бог в рот. И рот ее теперь ядовит.

— Или, например, слон. Это был пекарь. Неряшливый сопляк. Он портил соплями хлеб. А хлеб свят. И бог сорвал нарукавник с его руки и закрыл ему нос. Так он и ходит теперь, прожорливый слон.

— И за гордость наказывает человека бог. Красива птица павлин. А была она праведником. И жила в раю. О, в раю, да. Но возгордилась перед смертными благочестием. И похвальбой прогневила бога. Он ее изгнал. И только в ее опереньях остался отсвет рая. И белые ее ноги, ступавшие по небесам. И послушавшись, как тоскливо ее внезапный крик. Она кричит, когда вспоминает утраченное блаженство.

— И тогда вспомнишь, что сказано в Коране о пути в рай: над адом в рай ведет мост тоньше волоса, быстрее бритвы.

— А кто ты такой? Откуда ты? — спросил раис.

— Так, прохожий.

— Откуда прохожий?

— От востока до запада. По пути божьему. Не так, как вы.

— А что?

— Истари жили здесь локан. Пасли скот. Теперь взяты их земли. И перерыто все. Можно ли железом резать землю, созданную богами!

— Начал раем. Кончил землей. Так бы и начал. А баран тоже божий, а ведь режут.

— Как можно скота равнять. И как можно сеять одно и одно: хлопок. Начни говорить всегда одно слово. Кто поймет? Так и поля, как истари, сеять надо зерном. Ведь хлопок — это есть нельзя.

— В Локае — хлопок. В Дангаре — хлеб. В Кулябе — кунджут. Теперь большая страна говорит одним голосом. И слов у нее не убавилось. Ты же смотришь через один Локай. Хлеб сеют там, где хлопок не растет. Хлопок — где не растет хлеб. Кто ты? Таджики?

— Локай.

— А к чему завел разговор?

— Вам надо понять; чужую землю не заселять. Не выживать хозяина. Может быть.

Так ответил раис:

— Пусти пройти.

— Погоди. Пройдешь.

Хромо́й встал, снова загордив свет. Тракторист, докурив, прошел через него вон. Хромо́й, отстранившись, сказал:

— Пахнет адом.

Но переселенцы следом за ним выходили из жилья. Спутники ждали их, прислонившись в тени. И хромо́й кинулся за ними следом. Словно сбегая вниз по крутой лестнице.

— Не будет вас и не будет рук. Чем они стали бы работать? И опять бы вернулись наши стада сюда. И было бы все, как раньше здесь.

Только ускорил шаги колхоз. А тракторист сбежал с пригорка вниз к бригаде. К своему трактору. В пыли и копоти было его лицо. Он облизывал черные губы розовым языком. По пригερку крутились, как ветерки, козлята.

Он махнул товарищам:

— В кибитке свежая вода есть.

Трактор пошел, волоча лезвия плугов, блестящие до прозрачности.

Раис оглянулся.

Он увидел оседланного, пущенного невдалеке от кибитки коня. Удивительно хорошего коня. Конь обернул к хромо́му голову, покорную перед хозяином. Но тот раздумая внезапно и снова захромал к жилью.

4.

Он возвратился в кибитку и сел поперек порога. Трое человек стояло в ее сумрачной глубине. Он не знал русского языка. На нем разговаривают басом. По картовому голсу хромо́й в одном узнал узбека. Второй пил большими, медленными глотками. Третий, сидя на полу, рисовал прилежным карандашом в записной книжке.

Мимо шел караван. Верблюды, перегруженные бидонами горючего. Хромо́й смотрел бока, боками растертые до ребер.

В эту весну большого посева гибли, мучились и напрягались верблюды не меньше людей. Уставших били. Запрокинув головы ст караванщиков, они поднимали рев.

В пыли оставался, как растерянные четки, накрапанный кровью след.

Медленный караван. Длинный. Последний верблюд гремел опрокинутым ведром, псдаешенным к брюху. Из этого колокола стучала, качаясь, большая, белая кость. Этот верблюд был гружен саксаулом — гэлпигом Саксаул— это корни, восставшие против роста внутри земли, выбравшиеся наружу. Их желтое тело маслянисто и горит стойко. Крытые эти дрова, на верблюжьей спине, показались хроми му грудой оленьих рогов.

— А в Бадахшане, — сказал он, подразумеваемая Памир, — есть и сейчас места; там вместе деревянных сох пахнут оленьим рогом. Видел сам.

Узбек перевел его слова и засмеялся.

Бригадный механик ответил, остановив караван.

— А я как раз рисовал верблюда.

— Грех, — сказал хромой. — Ничего живого изображать нельзя. Ибо на том свете потребуют, чтобы все тобой изображенное было тобой одушевлено.

— А мы такие люди, — ответил механик, — сначала одушевим, потом изображаем. Можно, по-твоему, трактор изображать?

Локаец решил так:

— Трактор можно изобра-

стонт. Если идет, нет...

— Если идет, нет?

— Тогда им владеет дьявол. А дьявол одушевлен.

Трактористы смеялись в его серьезную бороду. И хромой встал, оглянувшись в долину, где бродил конь.

— Странная у вас весна, — сказал механик узбеку, — все заросло цветами. А листьев нет. И люди такие же. Подвижники.

Узбек понял не все. Он еще не освоился с языком механика, говорившего без жаргонных слов.

Механик приехал из Самары, неделю назад. Его розовый ожог еще не перешел в зеленоватый локайский загар. Он записывал слова в книжку, зарисовывал пустыни. Он хотел в этом народе стать своим. Обещал самарским друзьям жениться на таджичке; Гаруно и Гафизом назвать своих сыновей; жить в строгом соответствии с уставами местного быта.

А встретил пустые места. Локайский язык. Узбеки его бригады носили черные комбинезоны, грубые простые ботинки и ненавидели

быт юности, из которого смотрела, как плоть, черная борода ислама. Здесь русские меняют кепки на тюбетей и мусульманские комсомольцы тюбетей на кепки.

Хромой перекинул через седло коня серый ватный халат. Такие носят узбеки в Афганистане. И вытащил из-за голенища плоть — камчу, обшитую синей кожей. Такими торгуют афганцы на той стороне Пянджа.

Он легко, будто и не был хром, зажал под себя коня. И с дороги свернул к горам.

5.

Двадцать два человека вступили на тропу, протоптанную между взрытой землей, словно среди травы. Извилистую, как трещина на посуде. Незапаханный холи перед арыком оставлен для поселения.

Дикая трава путалась под ногами. Сплошная заросль низких и мелких лиловатых цветов.

Раис размял цветок и понюхал. Он услышал запах персиков, лета Ферганы, детства и родины.

Опустившись на колени, он разгреб цветы, как волосы, когда ищутся в голове. И увидел голые до корня стебли. Только цветы без листьев. Достал персть земли и размял ее на ладони. Он медленно и пристально оглядел ее и поднял ладонь к глазам старика.

Тот пересыпал ее на свою ладонь и его обступили остальные, глядя не на размятую персть, а в губы, заплетенные седой паутиной; а в брови, сложенные будто перед полетом; а в морщины, вписанные долгим трудом.

Старик рассмотрел и взглянул на раиса. И попробовал землю языком на вкус.

Чуть прищурив глаза, сплюнул. Отряхнул ладонь о ладонь. Поднялся с корточек. И трижды обнял раиса.

Их беспокоил солоноватый привкус земли. Хлопок не станет расти, если этот привкус окажется вкусом. Солончаками. Но привкус был слаб.

Тогда все разогнулись и разбрелись. По пустырю, разговоривая. Оглядывая уже свои поля или по другим нуждам. Кто, шурясь, всматривался в отдаленный куст, границу колхоза, и в дорогу, откуда еще сегодня могли привезти семена; кто в глубину борозды жа жахоте, домовито и хозяйственно.

Набросили в кучу сухой камыш и бурьян. Развертывали мешки.

Зачерпнули арычную муть в чайник. И вдумывались в нее, так же, как в землю. Спешили испробовать.

У них еще нет жилищ. Нет лошадей. И далеко покинуты имущества, дети и жены.

Строиться некогда.

После работ — сева и окучек — займутся постройками. На лошадей им дана ссуда. Они купят лошадей в районе, в первый же базарный день. А после посевной пошлют двоих человек в Фергану, в город Ура-Тюбе, за детьми и женами. И счастливы двое стариков.

Они выговорили себе дело: заняться огородами, — будет приослуксабы — морковь: калампур — перец и сама харбуза — дыня. Это небольшой огород, на свою нужду, но первый огород под этим вот небом. Насадят деревья. И, кроме садов, вырастят вдоль арыка голубое дерево сафедор. Тополь. Чтоб давал прохладную тень и оберегал воду.

Жилищ еще нет. А есть колхоз. На душистых цветах. Под душным и пустым небом.

Набили на рукоятку похожий на плоскую раковину и на большое черное ухо кетмень. Долго искали камень, насадить железо на дерево. И вырыли яму возле арыка. Вырытую землю плотно утоптали. Получилось возвышение — первое здание. Здесь сидеть и разговаривать. А в яме будут замачивать хлопковые семена, прежде чем сеять.

Предстояло далеко к западу и далеко к востоку расчистить старый, оскудевший, затянутый тиной, арык.

В повечерелом небе птицы похожи на глаза. У коршунов мохнатые, мягкие при полете, крылья. И чем блаженнее отдыхало от перепада тела, тем напряженной рос разговор. Возбуждал свежий ветер.

Пусть еще нет жилищ и нет имущества. Они все начинают трудом на пустой земле. В эту голую долину они вошли с большими и умными опытом. Не нужда уводит человека с родины. Чем пытливее человек, тем легче покидает он сад, возделанный отцом, возделывать пустыри по-своему.

Леур.

Март.